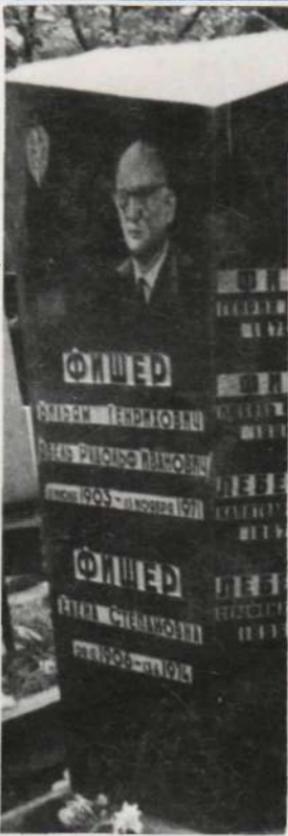


ВРЕМЯ ИДМБ 49 1980

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● **КИРИЛЛ ХЕНКИН**
"ОХОТНИК ВВЕРХ НО-
ГАМИ" — ИСТОРИЯ
ПОЛКОВНИКА АБЕЛЯ
/ВИЛЬЯМА ГЕНРИХО-
ВИЧА ФИШЕРА/.

Полковник Абель



Кирилл Хенкин

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- **КОНЕЦ КРУТОГО МАРШРУТА**
- **ПУТЬ К СПАСЕНИЮ ЗАПАДА**
- **ИСТИННАЯ РОЛЬ БРЕЖНЕВА**
- **СЛАВЯНОФИЛЫ И ПОЛИТИКА**
- **ИДЕОГРАММЫ ВАЛЕРИО АДАМИ**

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

49
1980 ЯНВАРЬ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК**

**ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ВИКТОР НЕКРАСОВ
ДОРА ШТУРМАН
ЕФИМ ЭТКИНД**

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
**Адрес отделения: E. Szein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.**

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
**Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.**

Представители журнала:

Англия Александр Штротас
**Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.**

Западный Лотар Ролл
Берлин **ВикпкгидаНм 98. 1000 Berlin 47. t. 60S 77-61**

Канада Юрий Лурьи
**305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (2041 474 9773**

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Виктор НЕКРАСОВ

Из дальних странствий возвратясь 5

Раиса ОРЛОВА, Лев КОПЕЛЕВ

В конце крутого маршрута 36

Евгения ГИНЗБУРГ

Mea culpa 52

ПОЭЗИЯ

Ефим ЭТКИНД

У времени и вечности в плену. 62

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

Определенность 66

Надежда ПАСТЕРНАК

Боль во мне. 79

ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, КРИТИКА

Лев НАВРОЗОВ

Посредственность и спасение Запада 88

И. НОЛЯИН

Брежнев: правитель или марионетка? 112

Н.ПРАТ

Славянофилы в зеркале политики. 125

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Самуил МИКУНИС

Прозрение. 140

Кирилл ХЕНКИН

Охотник вверх ногами. 158

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Идеограммы Валерио Адами. 210

С этого номера — первого номера в 1980 году — "Время и мы" начинает выходить как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Париже.

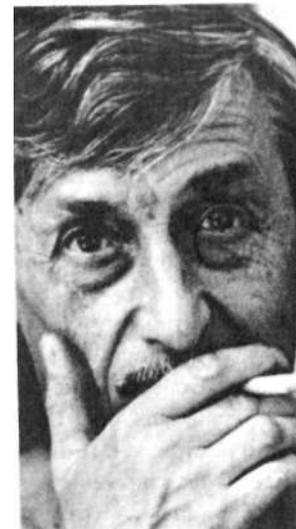
Преобразование нашего журнала осуществляется в полном соответствии с его программой и принципами. Мы и дальше будем оставаться независимым и беспартийным изданием, не связанным ни с какими идеологическими направлениями и решительно выступающим против всякой национальной ограниченности, откуда бы она ни исходила и сколь бы высокими мотивами ни прикрывалась.

Свой нравственный долг мы видим в том, чтобы и дальше развивать единство мировой культуры, не знающей национальных и географических границ и основанной на идеалах свободы и уважения к человеческой личности.

Мы надеемся, что с преобразованием журнала "Время и мы" в международный журнал литературы и общественных проблем расширится круг его авторов, нам удастся привлечь к работе в журнале новых талантливых литераторов в России и за ее пределами и таким образом еще выше поднять уровень нашего издания и его популярность среди читателей.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"



Виктор НЕКРАСОВ

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Жизнь ворвалась в мою тихую обитель и отодвинула на какое-то время японское чудо на задний план. Есть чудеса более близкие, более дорогие.

Телефонный звонок. В основном телефон молчит — все в разъезде — кого ж черт несет?

— Виктор Платонович? Спешу вам сообщить радостную новость, только что говорила по телефону со Славиком Глуманом...

— Бог ты мой! Откуда?

— Из Иерусалима.

— И куда?

— В Нижнюю Тавду.

— Господи! И где же это?

— В Тюменской области.

— Из Иерусалима в Тюменскую область? И сейчас вы из Иерусалима?

— И сейчас. Зовут меня Клара, и мы встречались с вами в Киеве.

Окончание. Начало см. в 48 номере журнала.

Из дальнейшего разговора выясняется, что Славик, отсидевший уже свои семь лет, а сейчас отбывающий ссылку, работает диспетчером в колхозе /телефон 45401/, что получает много писем, правда, все от посторонних, свои что-то молчат /я начинаю заливать краской — посторонние знают, а я до сих пор не разузнал его адреса/, просит прислать ему книги, желательно, по психиатрии, журналы по искусству. Чувствует себя хорошо. Здоров. /В этом я не уверен/.

Через пять минут вынимаю из почтового ящика "Русскую мысль". На первой странице, внизу, фотография — Елена Георгиевна Боннэр, жена Сахарова, и Славик — она приехала его навестить в ссылку. Судя по фотографии, изменился мало, только пострижен. Лицо грустное.

Все вышеизложенное я считаю чудом. Семь лет лагеря, в котором могли... Что угодно могли. Как в том анекдоте про Ленина. "Куда идешь, мальчик? — В школу. — А отметки хорошие? — Да, ничего. — Ну, иди, иди, учись... А ведь мог и убить".

Так и Славик. Самое страшное уже позади. Не убили. А могли. А впереди?

Другое чудо...

Год тому назад, приблизительно в это же время, может, чуть-чуть попозже, я сидел, как и сейчас, в пустом Париже и предлагал читателю помечтать. "По обе стороны стены" заканчиваются маленькой подборкой мечтаний. Среди них и такая мечта №7.

Зал "Мютюалитэ" в Париже. Забиты все проходы, сесть негде. В президиуме ученые, писатели, нобелевские лауреаты. Приехал из Вермонта А.И. Солженицын. Председательствует Пьер Эмманюэль. Выходит к трибуне:

— Мы собрались сегодня в этом зале, чтоб чествовать приехавшего в Париж после стольких лет тюрьмы замечательно русского человека и писателя...

Лавина аплодисментов не дает возможности услышать имя писателя. По проходу идет бледный, усталый, худой, красивый человек. Эдуард Кузнецов..."

Действительность внесла кое-какие коррективы — вместо "Мютюалитэ" был другой зал, на бульваре Порт-Рояль, и ни-

кто из Вермонта не прилетел. Я, увы, тоже был далеко, ничего о встрече не знал, но через несколько дней Пьер Эмманюэль /в прошлом председатель французского ПЭН-клуба/ приветствовал Кузнецова в издательстве ИМКА-ПРЕСС, и туда уж я попал.

Ну, что сказать?

Конечно, волновался /а Кузнецов был спокоен, немногоречив, сдержан/, и так хотелось сказать что-то значительное, на века, и так не получилось — и спрашивал не то, и говорил не то... Впрочем, так ли это уж важно, теперь все впереди. И встретимся, и выпьем, и наговоримся вдосталь. Все впереди! Главный, единственный, окрыляющий меня лозунг. Все впереди!

Буковский, вот, успел уже и с королевой пообедать, и первый курс Кэмбриджского университета закончить /а как волновался, что завалит экзамены, и как приятно было на это волнение смотреть/, хорошую книгу написал. Кузнецов тоже уже пишет, разрываясь на части между конференциями, встречами, беседами, интервью. — сегодня Париж, завтра Лондон, послезавтра еще что-то...

Ну, разве не чудо? Третью жизни провести в тюрьме, сидеть в камере смертников, а теперь все эти Нью-Йорки, Парижи, Лондоны, "Боинги" туда-сюда, со всех сторон микрофоны /другие уже.../, и одна только мысль: "уединиться, уединиться бы... Дописать".

Чудеса, иначе не скажешь.

Да какие ж это чудеса, — скажут мне иные скептики, — самая что ни на есть элементарная проза. Да и прозаик-то скорее спекулянт. Придумала советская власть торговлю людьми, вот и торгуют. Последней пятеркой выторговала СОЛТ-2, сейчас, очевидно, торгуется, чтоб попасть в список стран наибольшего благоприятствования. Какое ж это чудо? Работоторговля. Только рабы стали другими — строптивные, непокорные.

И все же чудо. Именно то, что стали работоторговцами, а не только убийцами. Что выпускают на волю людей умных, не сгибаемых, борцов. И что не выносят их из самолета на носилках. Все это чудеса.

И вообще, страна моя — "Страна чудес". Иначе, чем чудом, не назовешь, что в магазинах до сих пор почему-то есть еще сахар, что московское метро самое четкое, бесперебойное во всем мире, и самое чистое, что не глушат "клеветнические" радиостанции, и что никто не боится их слушать, хотя нормальный советский гражданин приучен бояться всего, начиная от дворника и управдома. И то, что космонавты шестой уже месяц крутятся вокруг нашего шарика, и ничто у них не ломается, не отказывает, а вот пришить к штанам пуговицу нечем — ни в космосе, ни на земле — нету ниток.

Кстати, о нитках.

Вынужден принести извинения моему тезке, Виктору Григорьевичу Афанасьеву, главному редактору газеты "Правда". /Между прочим, мы были одновременно с ним в Японии и я очень советовал японским писателям, с которыми встречался в ПЭН-клубе, пригласить его к себе, для контраста, так сказать/. Так вот, хочу извиниться перед ним. Дело в том, что во всех своих выступлениях /и в ПЭН-клубе тоже/ я какое-то время уделяю "Правде". Иронизируя по поводу названия и приводя различные примеры, я, по-моему, довольно убедительно доказываю, что именно того, что обещано в заголовке, в газете нет. А вот и есть! — возражаю я сам себе. И нечего вводить в заблуждение западного читателя.

На второй и третьей странице попадают иногда материальчики, которые, воспользуйся ими кто-нибудь из наших писателей, цензура черта с два пропустила бы.

Вот, например, что я вычитал в номере "Правды" за 23 июня 1979 года, в разделе — "Правда" выступила. Что сделано?" /Не знаю, для кого это я пишу. Советский читатель все это знает и без меня, мы, эмигранты, еще не забыли, а иностранец, глядя, например, наши фильмы, — показывали здесь шукшинские "Печки-лавочки" — воспринимает все эти "мелочи быта" как некий сюрреализм; никто ж не поверит, что простых ниток нет.../

Итак, о простых нитках.

В связи с корреспонденцией "Катушка ниток" /"Правда", 20 июня/ газета сообщает, что зам. министра текстильной про-

мышленности РСФСР Л.Андреев объяснил, почему все еще нет ниток. Оказывается, не хватает тонковолокнистого хлопка, сокращены поставки деревянных катушек, к тому же просто-напросто нет высокопроизводительного оборудования для выработки ниток. Нет и все! На дворе давно уже зрелый социализм, а оборудования нет. Что же делать? Ходить с расстегнутой ширинкой? Нет, выход, оказывается, есть, нужно только перевести фабрику "Красная нить" Ленхлоппрома на производство ниток из хлопка третьего сорта взамен первого и второго, и все пойдет, как по маслу — к концу года будет выпущено 2,5 миллиарда условных катушек. /А где же деревянные, ведь, кажется, их-то и не хватает?/ Другой замминистра, на этот раз уже сельского хозяйства СССР, А. Чубаров, тоже успокаивает — собираются, мол, усиленно внедрять какой-то новый гибрид шелкопряда с высокой шелконоскостью. Что-то обнадеживающее по поводу полиэфирных нитей для синтетических швейных ниток пообещал и В. Семёнов, и. о. начальника "Союзхимволокна". Одним словом, на 63-м году существования советского государства будут нитки. Дело только за иголками.

Ну, разве все это не чудеса?

Нет лампочек и батареек, а "Союзы" и "Салюты" летают себе и летают, как ни в чем не бывало. Правда, когда что-то неладное, на весь мир не кричим.

Те, кто помнит мои предыдущие очерки, знают мою слабость — зацеплюсь за "Правду", никак от нее оторваться не могу. Что поделаешь, привычка с детства. Десятилетним мальчишкой бегал уже на Владимирскую, к университету, где вывешивалась печатавшаяся на синей оберточной бумаге "Пролетарская правда". Внимательнейшим образом следил за вашингтонской конференцией по разоружению и греко-турецкой войной, болея, конечно, за греков /прогрессивность Кемальпаши как-то до меня не доходила — отменил фески, ну что это такое?/ С тех вот пор и отравился. "Ненормальный, — говорят мне друзья, — вокруг море разлитое всех видов информации, а он, времени не жалея, "Правду" читает... "Нет, не жалею. Называйте меня, как угодно, — мазохистом, копрофи-

лом, но без родной своей "Правды" жить не могу. И, честное же слово, в каждом номере что-нибудь, да найдешь."

Пожалуйста, в том же номере, где про нитки и шелкопряда, в том же даже разделе, некто М. Кулешов сетует на то, что на железнодорожных станциях нет газетных витрин, "сплошь и рядом встречаешься с фактами их недооценки". Прав тов. Кулешов, вполне разделяю его возмущение, конечно же, безобразие, что "на пригородных платформах Московской ж.д. газетные витрины явно оказались в опале". Как бывшего советского гражданина меня это безусловно огорчает. И в то же время радуется. Радует, что есть такие М. Кулешовы, которые не только огорчаются, а вот уже сколько времени — "три с половиной года назад /15 мая 1976 г./ я писал об этом в заметке "Исчезнувшие витрины" — борются за правое дело. И времени не жалеют. С упорством, достойным лучшего применения /весьма ходкая фраза из арсенала советского журналиста, пишущего, правда, об очередной западной "клевете"/, обращается М. Кулешов ко всем, от кого зависит эта животрепещущая проблема. К начальникам станций Быково, Раменское, Люберцы, Воскресенск /т.т. Попову, Блинову, Хавину, Лысенко/, к заместителям секретарей партбюро Московской жел. дор. и Московско-Рязанского отделения, т.т. Колуну и Милосердову, дважды беседовал с заведующим отделом пропаганды и агитации Раменского горкома КПСС т. Додоновым — а воз и ныне там. Не выдержал, написал в "Правду". И газета — не буржуазная, гоняющаяся за дешевой сенсацией, а наша, советская, — поддержала товарища, напечатала его заметку... Кажется, мелочь, а вот и не мелочь. И засуетятся Поповы, Милосердовы и Додоновы, и появятся на дачных перронах газетные витрины, и будет что почитать ожидающим поезда пассажирам. Вот что значит простой советский М. Кулешов! До всего ему есть дело, во все вмешивается, не успокаивается, четвертый ведь год борется за эти витрины, не сдается и не спивается с горя — гвозди бы делать из этих людей! Жаль, что не могу с ним познакомиться, о таких людях писать надо, упорных, настойчивых, беспокойных — они-то и строят коммунизм.

Но шутки в сторону. Я не знаю М. Кулешова и, может быть, зря над ним иронизирую /признаться, завидую энергичным людям/, но сколько в нашей стране еще читателей "Правды", которые не по принуждению, а "по велению сердца" заваливают редакции письмами. И не только о нехватке газетных витрин или почтовых ящиков, а и о вещах посерьезнее — о чувстве гнева, которое охватывает читателя в связи с нейтронной бомбой, вероломным нападением китайцев на мирный Вьетнам или — тут уж, действительно, как промолчишь! — о недостойном, позорном поведении некоторых наших писателей и ученых.

Как ни грустно это сознавать, но не все экскаваторщики и доярки пишут под диктовку секретарей парторганизации. Совсем как живой передо мной тот молоденький шофер, о котором писала в свое время Лидия Чуковская. Даже, кажется, голос его слышу:

— Читали, гражданочка? Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я вот этими руками, на комбайне, для него хлеб убирал. А он, гадина...

Становится страшно. И таких мальчиков не один и не два, их тысячи, а то и миллионы. Советская пропаганда, при всей своей примитивности и тупости, может определенно похвастаться определенными успехами в области засорения мозгов. Не зря второй секретарь ЦК партии любой республики называется "по агитации и пропаганде". Не все, слава Богу, в нашей стране читают газеты и слушают московское радио /думаю, что подавляющее большинство/, но не будем обольщаться, — сколько еще и слушает, и читает, и, — главное, верит тому, что Буковский уголовник и поджигатель войны, а Арафат честный, благородный борец, отстаивающий права своего народа. Сколько их — верящих... И не верящих, ни во что не верящих, но читающих, выступающих, разоблачающих. Экскаваторщики и бульдозеристы верят слепо и выступают, не ведая, что творят, а вот эти, которых Никита в свое время любовно окрестил "автоматчиками литературы", все эти Грибачевы, На-

ровчатовы, Медниковы, Стрехнины и Рекемчуки не только ведают, но и творят. С каким восторгом и в то же время задыхаясь от справедливого гнева, перебивая друг друга, клеймили они, когда дошла ее очередь, бедную Лидию Корнеевну Чуковскую за рассказ об этом мальчишке-шофере. Позорище это происходило на заседании секретариата московского отделения Союза писателей, срочно созванном, чтоб расправиться, наконец, с писательницей, специализирующейся на клевете и инсинуациях. Вот, пожалуйста, последняя ее стряпня — "Гнев народа", или, как они любят называть, открытое письмо, где она берет под защиту предателей и отщепенцев — Сахарова и Солженицына. Совсем распоясалась. Пора призвать к порядку! Давно пора. /У меня сейчас в руках только что вышедшая в издательстве "Имка-Пресс" книга Лидии Чуковской "Процесс исключения", в подзаголовке: "Очерки литературных нравов". Все в ней описанное происходило вроде и давно, в начале 74-го года, но, Господи, до чего ж еще свежо в памяти.../

Призвать к порядку! И призвали. И из Союза исключили. Не легко это было. Бедного, разволновавшегося Лесючевского Николая Васильевича, директора всем очень нужного издательства "Советский писатель", наперебой успокаивали — "Коля, не волнуйся, не стоит она того... У тебя большое сердце... Надо щадить себя... Тебе вредно волноваться. Вспомни, дружище, ведь мы страна победителей! Мы взяли Берлин! И ты расстраиваешься... Из-за чего? Из-за какой-то несчастной статейки..."

Несчастливая статейка... Специально приехали со своих дач, оторвались от работы, бензина не пожалели. И сил, и энергии не пожалели, не только бензина, а вот разыскать убийц Кости Богатырева, хорошего литератора и хорошего человека, которому "неизвестные" проломали череп, на это энергии не хватило... И никому почему-то не стыдно.

* * *

Народу было не очень много, человек двести, не больше. Студенты и аспиранты Токийского университета со странным

названием — Софийский. На следующий день японские писатели. А до этого, зимой еще, в Швеции, Норвегии, Дании — опять же студенты, профессора, писатели. И все они, японцы, шведы, норвежцы, датчане, финны, в прошлом году англичане, немцы, итальянцы — все они интересовались, в основном, одним и тем же — слыхали, мол, что литературным процессом у нас в стране руководит партия. Что это значит?

Господи, до чего ж хочется, поднявшись на трибуну или сидя за столом в небольшой аудитории, рассказать о чем-нибудь хорошем, веселом. Как радостно было много лет назад, в бытность мою еще советским писателем, рассказывать русским эмигрантам в Париже о рождении большого писателя, об "Иване Денисовиче", о жарких спорах на выставке в Манеже, о том, что у нас на родине наступает новая пора — и я верил в это! — пора раскрепощения, что пахло свежим ветром. Последующее показало, что пахло, да не очень, и освежающие ветерки превратились в нечто, скорее напоминающее тайфун. И хочется говорить именно о нем, так недолго дувшем ветерке, а говоришь о тайфуне.

Сидят передо мной молодые японцы. Все они читали и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и, конечно же, Пушкина /а во Франции только сейчас — и то только благодаря стараниям Ефима Эткинда, впервые появляются его переводы/, а вот о том, что происходит у нас сегодня в литературе, ничего не знают.

Начал я с того, — с этого всегда начинаю — что всем, кто еще не бывал в Советском Союзе, усиленно рекомендую съездить. Не пожалеют.

— Не Третьяковка, не Эрмитаж поразят вас. Музеями вас не удивить, везде есть свои Лувры и Прадо — а вот люди, или, как принято у нас их называть, "трудящиеся", поразят. Несмотря на все интуристовские рогатки, я в этом уверен, познакомитесь с нашей молодежью. И увидите, что она и петь, и танцевать, и веселиться умеет. А если малость выпьет — а без этого у нас нельзя — то и поговорить как-то удастся. И не я, эмигрант, исключенный из партии, на советскую власть обиженный, а поэтому, может, и несправедливый, а они, такие же

как вы, студенты, расскажут вам о своем житье-бытье, о том, чем и как дышат.

Виноват, я сказал "такие же, как вы". Нет, не такие. Совсем другие. Какие, сами увидите. Но единственно, в чем я абсолютно уверен, — вам будет интересно. Интересно и удивительно. Вы, дети побежденных, встретитесь с детьми победителей. И вас поразит — почему вы, дети побежденных, чувствуете себя в чужой стране свободнее, чем они, дети победителей, в своей собственной? Вас поразит, что дети победителей поминутно озираются, переглядываются, что-то недоговаривают, какие-то вопросы обходят, на какие-то отвечают, но ты им не веришь. /Если выпьют осмелеют, поэтому пейте, не бойтесь, голова утром будет болеть, но зато кое-что узнаете/. Вас поразит и то, что у победителей и фотоаппараты, и транзисторы, и магнитофоны уступают по качеству вашим, побежденных. И машин на улицах меньше, продуктовые магазины пустоваты, и чтоб посидеть с девушкой в кафе и полакомиться мороженым, надо с полчаса в очереди постоять. Стоило ли побеждать? — Здесь все начинают смеяться, а мне ничего не остается, как ответить — конечно, стоило. Я сам победитель, но... Все горе в том, что мы не только победители, мы и покорители...

Нет, эту тему я не развивал, уж больно она горькая, а перешел к литературе, своей непосредственной теме, да и просветов в ней больше.

Вопросов было много. И больше, и по содержанию интереснее, чем в Европе. И вообще — это поразительно! — культурный уровень японцев, народа, до начала этого века герметически закрытого для внешнего мира, — намного выше европейского, тем паче американского, их победителя. Я познакомился с переводчиком Чехова. "Что ж, вы и все пьесы перевели? — спросил я. — И "Платонова" тоже?" Он улыбнулся: "Пьесы... Вся переписка переведена." Значит, читают! Иначе не переводили б. Страна поголовной грамотности. И не как мы, каких-нибудь пятьдесят лет, а чуть ли не два столетия. Во Франции газету "Монд", несколько левовато-розоватую,

но серьезную и профессионально безукоризненную, читает узкий круг интеллигенции, некая элита, в массе же читают "Орор" /элита называет ее газетой консьержек/, "Франсуар", воскресную "Журналь де диманш" с кроссвордами, комиксами, гороскопами и альковными тайнами кинозвезд. Токийскую "Асахи" /японская "Монд", только менее розовая/ читают все. Тираж ее один из самых больших в мире.

Один из самых больших в мире...

И танкеров Япония строит больше, чем кто-либо другой /сейчас, правда, заминка, но виновата не Япония, а все те же всеильные шейхи/. И "Тойота" вытесняет "Форды", "Фиаты" и "Симки"... И самые быстрые поезда. И это при том, что колесо появилось в Японии — я не поверил ушам своим! — только в середине прошлого века. А как же передвигались? А очень просто — знать на носилках, воины верхом, а прочие, если так уж надо, пешком...

/Между прочим, наша кавказская Сванетия тоже до прихода советской власти не знала колеса. Я карабкался по ней с рюкзаком за плечами в начале 30-х годов — колесного транспорта не было и в помине, все передвигалось на полозьях. Первое колесо, увиденное сванами, было не автомобильное, а самолетное шасси.../

В Японии нет дома без телевизора, конечно же, цветного. И двенадцать программ /из них две на английском языке/. С шести утра до двух часов ночи. Телевизор мне противопоставан /ни в Киеве, ни в Париже не смотрю, разве что какой-нибудь фильм из полузабытых, классических, или "суды" над Роммелем и Тухачевским, или — это уже не пропускаю — выступление А. Чаковского перед французскими зрителями/, но в каждом номере у меня стоял телевизор, и перед сном я нет-нет, да включал его. В основном самурайские фильмы, бейсбол или матчи японской борьбы "суми".

По-французски есть термин, которого нет на русском языке — "l'art martial"— воинственное искусство. Это все виды карате, дзю-до, кунг-фу, Брюс Ли, ну и т.д. По-видимому, "суми" тоже подпадает под это понятие.

Три раза в год по пятнадцать дней проводятся в Японии матчи или турниры /"башо"/ суми. Первое впечатление от "сумотери" — борцов, я бы сказал, скорее отталкивающее; непомерных размеров животы, груди, как у женщин, ноги-окорочка. Потом постепенно привыкаешь, хотя по-настоящему увлечься этими, длящимися не больше двух-трех минут, схватками я так и не смог.

На помост поднимаются двое таких детин. У них особые, отлакированные прически с узелком на макушке, на бедрах нечто, не то трусы, не то повязка со свешивающимися шнурками, которые в начале борьбы отбрасываются назад. Перед началом серия каких-то ритуальных движений, бросается зачем-то соль под ноги противника и оба становятся друг перед другом на карачки, широко расставив ноги и упершись руками в землю. Судья — он в традиционном кимоно и черной шапочке — делает знак, и противники бросаются друг на друга. Борьбы как таковой нет — одно напряжение, потом один из них летит вдруг на поди на этом все кончается. Победитель, подняв руки, ликует, обнимает соперника, и они расходятся. Подымается следующая пара... Интересно? Как сказать. Слишком уж все молниеносно кончается, не успеваешь даже решить, за кого ж болеть. А японцам нравится. Их, сидящих вокруг ринга, тысяч десять, не меньше — я ж на десятой минуте выключал телевизор.

Из "не-мартиальных" видов искусства любят в Японии бейсбол и гольф. Я и в футболе-то не очень разбираюсь, в бейсболе же подавно. Запускается мячик с каким-то особым приотопом, и надо его отбить специальной битой. Иногда не удается, и мячик ловит в особую рукавицу другой, стоящий рядом игрок. Есть еще и третий, он позади, в маске, и роль его мне не ясна. На пятой минуте я выключал телевизор или переключал на хорошенькую плачущую японочку, окруженную свирепыми самураями с пробритыми до макушки лбами.

Гольфа я не видел, только площадки для игры, обнесенные высоченными предохранительными сетями, в громадном количестве мелькали за окном нашего экспресса.

Футбол в Японии не популярен. Хоккей тоже.

На этом мои не очень-то квалифицированные рассуждения о спорте кончаются. Но не о зрелищах. Рискуя быть осужденным многими и многими моими читателями, считающими /не без основания/, что я слишком много времени уделяю пустякам, я все же, нарушая одно из своих обещаний /см. последний абзац вступления к "По обе стороны стены" — "Континент" № 18, стр. 59/, не могу не сказать несколько слов об одном виде зрелищ поклонником /а мечтаю быть знатоком/ которого стал здесь, на Западе.

На этот раз будет уже не телевизор, а вполне реальная, в городе Фрежусе, на юге Франции, римская арена, выдавшая еще кровь гладиаторов. Зрителей, если не десять, то тысяч пять, не меньше. И треть из них, а может, и больше, приехала из Испании. Приехала потому, что сегодня после семилетнего перерыва выступает прославленный на весь мир матадор, кумир и гордость Испании, легендарный Эль-Кордобес.

Весть о том, что он возвращается на арену, всколыхнула Испанию не меньше, чем война, объявленная баскскими террористами испанскому правительству и туристам. Став миллионером в 36 лет, Мануэль Бенитез, он же Эль-Кордобес, после десяти лет триумфа на аренах всего мира, раненый-перераненый, ушел на покой. Женился, нарожал детей, завел собственную "ганадерию", стал растить быков для корриды. На семь лет его хватило, потом все это осточертело, заела тоска по арене, по быку не за загородкой, риску, овам. В первой же корриде, в Мадриде, под гром аплодисментов и крики "оле!", вырывавшиеся из тысяч охрипших глоток, он доказал, что по-прежнему не кто-либо другой, а именно он тореро № 1.

Эль-Кордобес не классик. Его называют революционером, нарушителем традиций. Поэтому у него не только доброжелатели и поклонники, но есть и критики, если не враги. Он нарушает веками установившиеся, не терпящие никаких отклонений приемы. Он дерзок и бесстрашен. Быки ему за это мстят. Не только по количеству ушей и хвостов — награда за хорошо проведенную "лидию", — но и по обилию ран он на первом месте. Короче — кумир.

Ну как не посмотреть на него? После головокружительно-го успеха в Испании и перед предстоящим турне по Латинской Америке он заглянул во Францию — в Байону /ох, как мне хотелось туда попасть!/ и во Фрежус. И совершенно случайно я оказался там же в день его выступления. И не пожалел ста пятидесяти франков.

То ли возраст /разве так оно было в нашей молодости?/, то ли разъедающий скептицизм, но я давно уже не замираю, входя в театр /да не очень-то теперь и вхожу — пошел недавно на французские "Три сестры", со второго акта ушел/, к театральному новаторству отношусь с предубеждением, в балет не влюблен /исключение Барышников — первый класс!/, к кино тоже как-то поостыл /фильмы теперь все разговорные, на нюансах, и моего французского на вникание в них недостаточно/, одним словом, на старости лет любое зрелище меняю на книгу /"Книга вместо водки" — было такое общество в дореволюционной России/.

На Эль-Кордобеса — сам себе удивился — шел с давно забытым, тем самым юношеским, детским замиранием сердца. Толпа вокруг арены, давка при входе, возбуждающая музыка, да и сама арена, древняя, тысячелетняя, обсаженная повсюду, как воробьями, мальчишками. Публика южная, темпераментная.

Шесть быков. Три матадора. Немолодой уже, за сорок, высокий, стройный Жоаким Бернадо, тоненький тридцатилетний Габриэль де ла Каза и гвоздь программы Эль-Кордобес. Круглолицый, шатенистый, на испанца не очень похож, чуть-чуть тяжеловат /сужу по заду, весьма существенная деталь всего облика/, сорока трех лет, одет во все красное с золотом, только чулки розовые — это обязательно.

Ну и что же? Покорил?

Нет, я не разочаровался. Но, очевидно, я все-таки традиционалист. Не знаю, как это поточнее сказать, но в Эль-Кордобесе есть что-то шпанистое. Некая развязность, бравада, игра на публику и, главное, то, что не могло не покоробить, пренебрежение к быку. Хватает за рога, гладит по лбу — все это на волосок от смерти, но уж очень напоказ. И не изящно. Вообще, с

изяществом у Эль-Кордобеса не очень. Уступает тем двоим. А в искусстве тореро это, пожалуй, самое главное. Все приемы, все эти вероники, бурладеро, чикуюлино, повороты, изгибы, мелкие шажки, прямые ноги, выпячивание живота и, вдруг неожиданно вялый уход от быка, мол, мне безразлично, спиной к нему,— все это некая школа, ритуал, обязательный и очень красивый рисунок, где важно не только движение, но и линия, ставший классическим сам силуэт матадора. У Эль-Кордобеса это малость хромает. Зато темперамент, быстрота, лихость, что и создало ему славу. Думаю, что коронный его номер /сужу по крикам/ — это когда он падает на колени /называется "де родиллас"/ спиной к быку и молниеносно меняет позицию, справа налево, и все на коленях. Эффектно и страшно, но... Те двое, Бернадо и де ла Каза, что там ни говори, красивее. Безупречность и чистота приемов у первого и совсем юношеская легкость второго меня покорили куда больше, чем шпанистская отчаянность кумира.

Бедному, такому благородному и изящному Бернадо в этот раз не повезло. С самой "Эстокадо де муэрто", смертельным ударом шпаги, у него что-то не получилось — второго быка убил только после четвертой попытки. После третьей прорвалась даже досада, хлопнул себя по коленке и потом, совершая все же круг почета /очевидно, он любим и ему что-то прощается/, он чуть-чуть смущенно, точно извиняясь, разводил руками — что поделаешь, мол, чего не случается. Зато молоденький /относительно, правда/ Габриэль де ла Каза оказался на высоте. Ни одной промашки, и с первого раза убил своего второго быка /с первым быком не удалось даже самому Эль-Кордобесу/. В награду получил два уха и хвост, круг почета совершил на плечах кого-то из болельщиков, и — высшая награда! — мэтр благосклонно обнял его за плечи после столь удачной "лидии".

А все вместе красиво, возбуждающе и немного, конечно, жалко быка — такой свирепый и полный жизни выбегает он на арену и такой усталый, выдохшийся, с ручьями крови от болтающихся на спине бандериллий, тяжело дышащий, стоит он перед направленной на него шпагой.

Они застывают друг перед другом — человек и бык. Одно-го ожидают овации и летящие на арену маленькие мехи с вином /делается два-три глотка, и кожаный сосудик летит обратно в публику/ или свист, и вместо мехов подушечки, на которых сидят,— другого смерть. Попасть шпагой надо в определенное место в загривке. Это не всегда удается. Бык шатается, но не падает. Матадору подают другую шпагу с маленькой перекладиной на конце, которой он, как крючком, вырывает первую, застрявшую... И опять застывают друг перед другом. На быка больно смотреть — как быстро его измотали. Он, правда, повалил пикадора /публика иронически относится к этим грузным, пожилым дядькам на вялых лошадях с завязанными глазами, одетых во что-то стеганое, предохранительное/ и довольно бойко гонялся за этими прыткими ребятами с бандерильями, но сейчас он тяжело дышит, опустил голову, коротконогий, черный, с потеками крови по бокам.

Матадор вытягивается в струнку, держит шпагу /"эспада"/ почти у самых глаз. Выжидает. Примеряется. Наконец выпад левой ногой и эспада вонзается в загривок. Во время самого броска бык выходит из своего оцепенения и тоже бросается. Увы, это не спасает его, только продлевает муки. Все повторяется снова. На это смотреть мучительно. Матадор нервничает, публика свистит или, если матадор любим, замирает в ожидании.

И бык рухнул. Музыка. Отрезают или не отрезают уши. Или кончик хвоста. Появляется трио лошадей. Быка увозят, выволакивают. Он уже забыт. Из шкуры его потом делают дамские сумочки. Это специальность жителей острова Ибица.

Итог? Искусство. "Мартиальное", правда, но искусство. И очень красивое. И, конечно же, как во всех видах искусства, нужно, чтоб творили его мастера. Я это понял во фрежусской корриде — все трое были высшего класса.

Суми, очевидно, тоже искусство. И не легкое. Грузных, брюхастых этих ребят откармливают, учат, держат на особом режиме с пятнадцати лет. К двадцати пяти они уже покидают ринг. Как-то в метро я обратил внимание моей спутницы на сидевшего против нас очень толстого парня. "Суми?" — "Что

вы, для суми это уже старик ... Но искусство это, уходящее, очевидно, своими корнями в глубь веков, мне, европейцу, /все ж!/ — чуждо. А Брюс Ли — нет. Что ж это такое? И мы говорим — Восток, иди разберись в нем. Иди-таки, разберись...

* * *

Хиросима...

Восток. Даже Дальний Восток.

Но бомба-то упала не восточная, а западная. Разберись-ка и в этом.

Само событие, как и все события прошедшей войны, уплыло куда-то очень далеко. Все реже и реже вспоминаю я Сталинград. Хиросиму и подавно. Для нас она давно уже некий символ, точка отсчета. Но оказавшись вдруг, в силу необъяснимых жизненных неожиданностей, в этом самом городе, бродя по залам мемориального музея, разглядывая леденящие кровь фотографии — трупы, трупы, трупы, гектары руин с одиноко стоящими, неизвестно почему выжившими скелетами отдельных зданий — стоя перед человеческой тенью, сохранившейся на ступенях одной из руин /а самого человека давно уже нет в живых.../, глядя на сотни, тысячи ребятишек, рисующих, играющих, бегающих, догоняющих друг друга в парке Мира /в центре более чем лаконичная бетонная парабола над гладью бассейна Кендзо Танге — все на фоне ее снимаются/, ударяя, как все посетители, в колокол Мира — чтоб не было больше войны! — все, или почти все, зная и вспоминая, — задаешь себе через столько лет вопрос — а нужно ли это было?

Сломить Японию? Застрелить Сталина? Какова цель этой гекатомбы — любимое выражение западных журналистов. 118 тысяч в Хиросиме, и еще 75 тысяч через три дня в Нагасаки. Зачем? Неужели, чтоб проучить, отомстить за Пирл-Харбор, не хватило одной Хиросимы? Непонятно. Так же, как и Дрезден, полностью уничтоженный, когда конец Райха был уже ясен, противник был повержен. И не по приказу Сталина, для которого человеческие жизни и бесценные сокровища Цвингера ничто, а по прямому указанию цивилизованного человека, президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумена.

Мы, русские, обязаны американцам многим — их танкам, самолетам, медикаментам, наконец, той самой свинотушенке, которой меня стыдили в родном нашем издательстве "Советский писатель" /"На ваших глазах гибли наши доблестные бойцы, а вы о какой-то там свинотушенке..."/, и если не двадцать миллионов, то все же триста тысяч молодых американских ребят сложили свои головы где-то у черта в зубах, в какой-то там Бирме, о которой они никогда и не слышали, на островах Тихого океана. А вот Дрезден, Нагасаки /если считать, что Хиросима все же была необходима/. Зачем?

Все эти мысли лезли в голову, не могли не лезть, пока мои неутомимые друзья запечатлевали на пленку очаровательную косоглазую детвору, заполнившую парк, а я, приморившись, устроился на лавочке, покуривал, любуясь все той же детворой.

Война...

Стоит ли вспоминать? Столько уже о ней написано, снято, спето. И все-таки вспоминаешь. Очевидно, надо.

Япония, агрессивная Япония, начавшая войну отнюдь не по-самурайски Пирл-Харбором, надолго, навечно запомнила ее конец.

6 августа 1945 года... 8.15 утра... Летящая крепость Б-29... На высоте 570 метров над городом с четырьмястами тысяч жителей взорвалась бомба... 118661 убитых... 79130 раненых... Город превращен в пустыню...

Разглядываю сейчас альбом, привезенный из Хиросимы. Вспоминаю Мемориальный музей. Искалеченные, скрюченные тела. Скелет трамвайного вагона. Расплавленный Будда. Сплавившиеся в кучу монеты. Черепа. И ожоги, ожоги, ожоги...

Мертвых не вернешь. Город восстановили. "Сестрику, братику, попрацюємо на Хрещатику". Павло Тычина. Такой, как Хрещатик, — а мы оплакиваем его, хотя сами и взорвали,— была вся Хиросима. Может, у них был свой Тычина. Помог восстановить город. И восстановили. Не отличишь от других. О прошлом напоминают только закопченные стены, пустые просветы окон и каркас купола "Хиросима Индэстри Промоу-

шен холл", остальное — Феникс из пепла — прямые проспекты, высокие дома, рекламы, пробки на улицах, и то тут, то там, на стенах, на крышах "No more Hiroshima!" — Больше никогда Хиросимы!

Война есть война. На войне убивают. Когда-то это делали на поле брани, опустив забрало, рубя мечом по латам или тыча в них копьем, стреляли из инкрустированных перламутром мушкетеров, мушкетонов, аркебузов. Потом из пушек — маленьких, средних, наших трехдюймовых, французских "суасант-кэнз". Из Большой Берты. Потом появились бомбы — маленькие, средние, большие. С "Ильи Муромца", "Русского витязя", "Юнкерса-88", "Ту-2", "В-29". И наконец с этого же самого "В-29", "Энола Гэй", по имени матери полковника Пол Тиббетса. Это он в 8 часов 13 минут 30 секунд 6-го августа 1945 года отдал приказ своему бомбардиру майору Тому Фэрби, — не знаю, как он звучит по-английски, по-французски "А vous"— по нашему, очевидно, "Огонь!". Потребовалось четыре секунды, чтоб бомба, оторвавшись от самолета на высоте 30 тысяч футов, еще через сорок пять секунд взорвалась и... в истории войны началась новая эра.

Сколько раз задавали мы себе вопрос: а о чем он думал, этот самый Пол Тиббетс, когда продирает глаза утром того памятного всему миру дня, когда садился в самолет, когда отдал приказ, возможно даже, перекрестясь?.. И как ему жить после всего содеянного им? Обыкновенному американскому полковнику, получившему, вероятно, орден и ставшему потом, возможно, генералом, молодому человеку с совершенно человеческим, простым, даже симпатичным лицом, почти русским, сказал бы я. Не будь у него раздвоенного, очень уж американского подбородка, ну совсем наш, ни дать, ни взять... Кто?

Кто?

А тот самый, который... Которые...

Вспоминаю наши "ИЛ-2" над Сталинградом. В первые месяцы. Как смело, бесстрашно они, два-три, максимум четыре, летели на немцев через наш Мамаев курган, а потом, не досчитываясь одного-двух, возвращались назад, над самыми наши-

ми головами, изрешеченные, простреленные... Герои... Мы молились на них, вот это ребята!

Война есть война. И на ней убивают. Врага... А если не врага?

Мне рассказывала одна осетинка, а может, кабардинка или балкарка — не помню уже, нечто страшное. Ее вместе со всей семьей /отец ее был то ли секретарем райкома, то ли обкома/, выслали в отдаленные края. В 24 часа... Так вот, она мне рассказывала, а я не верил своим ушам, что те аулы в горах, до которых трудно было добраться, просто разбомбили. Прилетели наши самолеты и сбросили бомбы на наших же людей. То ли осетин, то ли кабардинцев, то ли балкарцев — все они назывались изменниками, предателями, врагами народа.

Десять человек экипажа "Боинга", принесшего смерть Хиросиме, хорошо известны. Имена, фамилии, биографии, фотографии их были во всех газетах мира. Говорили даже, что кое-кто из них сошел с ума, чуть ли не сам Пол Тиббетс... Летчики. Солдаты. Солдаты выполняют приказ. И они его выполнили. Нанесли смертельный удар врагу. Японцы были врагами. Даже старики и женщины Хиросимы.

А старики и женщины тех самых аулов? Враги? Сталин сказал кому-то, что враги. И всех их надо выселить. А кого не удастся — уничтожить! И сели наши ребята в "Петляковых" или просто в ЯКи и полетели... И разбомбили. И вернулись назад. И, вероятнее всего, напилась.

Кто они? И о чем они думали, когда летели? И когда возвращались? Когда пили? И не сошел ли кто-нибудь из них с ума? А может, их просто-напросто расстреляли. Чтоб не болтали. В те времена все решалось просто, оперативно, без особых колебаний...

Вот какие невеселые мысли теснились в моем мозгу, когда я сидел на лавочке и курил в Парке Мира разрушенного американцами и восстановленного японцами города Хиросимы и смотрел на косоглазых пузырей, ползавших у моих ног.

Так надо ли вспоминать о войне? Попробуй, не вспоминай.

Добравшись до этой — в рукописи шестьдесят второй — страницы, я вдруг спохватился. Начал очень уж как-то зако-

выристо — дедушка Крылов, огурец, мост — расскажу, мол, такие небылицы, что глазам и ушам не поверите. А что я рассказал? Дополнил ли чем-нибудь Овчинникова? Нет!

И все же...

Накупив в аэропорту Нарита последние сувениры и садясь в самолет пакистанской авиакомпании Токио—Нью-Йорк через всю Азию, немножко Африки и Европу, усталый и набитый до горлышка впечатлениями, я задавал себе вопрос — ну что я вынес из всей этой поездки? Что нового узнал? Что поразило больше всего?

Отвечу кратко — много, очень много... И ничего.

Тем не менее...

Я увидел красивую страну с некрасивыми городами. И много красивого в этих некрасивых городах.

Я путался в бесконечных замысловатых переходах /куда там парижским или даже лондонским/, тупо разглядывал бесчисленные, непонятные мне надписи и любовался каждой из них в отдельности.

Впихивался или был впихиваем в вагоны метро, прислушиваясь к треску своей грудной клетки, и поражался, почему у всех такие спокойные лица. Почему никто по-ихнему, по-японски, не матюкнется или /не принято, допустим*/ просто не выскажет своего недовольства.

Подымался по ступенькам храмов, удивлялся, упивался их красотой, вкусом их творцов, филигранностью отделки, иногда размерами, и не понимал, как же все это строилось, как подвозилось, если сто с лишним лет тому назад неведомо было еще колесо.

Любуюсь теми же храмами и зная, что японцы понимают красоту, как никто другой, задавал себе вопрос, почему токийские, осакские, нагойские небоскребы так некрасивы? Японцы, если не великие изобретатели, то великие усовершенствователи, умеющие во всем переплюнуть всех, не смог-

* Как обрадовался, сидевший в советском пелену мой новый токийский друг Утимура, когда услышал в моем исполнении несколько весьма типичных русских нецензурных выражений... Спасибо, напомнил, совсем отвык..

ли переплюнуть Манхэттен — а тот, что там ни говори, красив, его сияющие, озаряемые вечерним солнцем, друг друга отражающие небоскребы ошарашивают, ошеломляют. Японские отталкивают, раздражают. И много их, и какие-то они одинаковые, невыразительные, одной высоты и сплошь усеяны рекламами, а сверху еще какой-то водонапорный бак. И это в стране Кендзо Танги...

Я не был ни в одном музее, ни в одной картинной галерее — первая страна, где нарушил установившуюся веками туристскую традицию, — не был, потому что сама страна интереснее тысячи музеев.

Я не только не привез в Париж, но и не познакомился ни с одной гейшей. А они есть. Я видел их в Киото, в узеньких улочках-коридорах вдоль набережной Камо-Гава, маленьких, изящных, с белыми от грима лицами-масками. Они быстро цокали мимо меня на своих деревяшках, не обращая на меня внимания, а мне с каждой из них хотелось выпить свои сто грамм саке.

Я пил это самое теплое саке во время многочисленных трапез, одна изысканнее другой, но ожидание этих трапез вызывало у меня ужас и содрогание — хотелось не отставать от других, есть палочками и сидеть на корточках, но палочки вываливались из рук, а от сидения на корточках тут же немели ноги и хватала судорога.

Потом, вечером, лежа в своем номере, я пытался вспомнить, что же я ел, что было рыбой, а что капустой, и все время чему-то удивлялся.

Удивлялся японской чистоте и порядку, хотя у какого-то американца или англичанина вычитал, что его поразила в Японии грязь и мусорные свалки на улицах.

Удивлялся тому, что французы собираются пустить свой сверх-блиц-экспресс Париж—Лион только через два года и много и не без гордости о нем пишут, а у японцев он уже пятнадцать лет как ветром несется по своей эстакаде.

Удивлялся, как это все у них получается, когда кроме рыбы и вулканов ничего у них нет, все надо ввозить. /Фудзи-ямы, кстати, тоже нет, ее придумали Хокусаи. Уверю вас.

Кто ее видел? Я, например, нет. Все врут. Для заманивания туристов.../

Удивлялся, почему они все поголовно грамотны, даже какой-нибудь нищий /понятие условное/ крестьянин из "глубинки", когда, по моему усмотрению, чтоб выучиться японской грамоте и разобраться во всех их иероглифах, надо по меньшей мере быть ученым-лингвистом, да еще и выдающимся.

Всему этому я удивлялся, от чего-то приходил в восторг, от чего-то не приходил, пожимал плечами, но главное, я так и не узнал, не узнал японца.

Я познакомился с ними. Бродил по всяким закоулкам и залитым неоновым авеню, поклонялся таинственно-непонятному мне гигантскому Будде Дайбитсу в Кама курае, внутри которого лесенка и за сколько-то там иен можно по ней подняться, окунался вглубь веков, простым зевакой присутствовал на японской свадьбе, — красивее не видел, — покупал ненужности в книжных и антикварных лавках Гинзы, токийского Бродвея, вкушал яства и что-то пил в экзотических кабаках — в одном из них два бойких, крикливых повара, сидя посреди посетителей, на длинных палках подают всяких там кальмаров и крабов, спускался в трюм и взбирался на мостик немислимых размеров танкера в сухом доке, с трудом, но без всяких эксцессов пробивался сквозь веселую толпу какого-то карнавала в районе Асакуза, покупал талисманы и гороскопы у старых монахов в древнем монастыре (с двумя молодыми даже снялся/, в двух японских домах ночевал, в одном из них угощаем был такой жареной говядиной, какой ни в одной из Европ не едал, а с милыми Торэ и Наоми Кавасаки веду до сих пор переписку, но... Ни к кому из них в то, что называется душой, не заглянул.

Говорят, японец загадка. Он и такой, и сякой. Вежливый и грубый, коварный и добрый, лицемерный и дружелюбный, жестокий и ласковый. Не знаю. Возможно. Те, с которыми я сталкивался, были внимательны и обходительны. Но эталон японца они никак не могут быть — все же интеллигенция, той или иной стороной прикасавшаяся к русским, к России, Советскому Союзу.

Как ни странно /все-таки больше воевали, чем дружили/, но к русским у японцев симпатия. И интерес. Виноваты в этом, конечно, и Толстой, и Достоевский, и Чехов, и Гоголь, а теперь еще и Солженицын, но, кроме этого, есть еще и другое, что объединяет всех, поголовно всех, японцев — ненависть. Нет, не к русским, к Советскому Союзу. И всему виной не войны, не различие систем, а паршивых три островка, самые южные из Курильской гряды — Кунашир, Шикотан и Это-рофу.

Что такое государственная мудрость? Очевидно, действия и поступки, которые государству выгодны и полезны. Возможно, выгоден и полезен в каких-то случаях /я не говорю законен/ захват чужой территории. Тебе тесно, а соседу просторно, вот и откуси от него кусок. И откусываешь. Иногда это называется захватом и разбоем, иногда воссоединением, но элементы какой-то логики в этих акциях всегда есть — отодвинуть границу, захватить плодородные земли. В захвате же этих трех крошек, отстоящих от берегов Японии на каких-нибудь 80 километров, логики никакой. Ракеты, могущие стереть Японию с лица земли, растыканы в астрономическом количестве по всему Приморью, Камчатке и на остальных островах Курильской гряды — зачем же еще эти три? А вот за тем! Захватили и все! Они наши! На веки вечные! И не ваше это дело...

Не наше? Ладно. Подписываем мир с Китаем. И торгуем тоже с ним. А могли бы всю вашу Сибирь накормить. И в изысканиях помочь, руду какую-нибудь найти...

Из друга, мирного соседа, сделали врага, ненавистника. Собственными руками... Государственная мудрость.

Но вернемся к душе, в которую я так и не забрался. Впрочем, стоит ли? Я вот уже сколько лет живу во Франции, а что я знаю о французе? Прижимистый, сантимщик, тушащий за собой на каждом шагу электричество, собственник, думающий только об уик-энде? А вот и нет! Мои французы не такие. И в Париже, и в маленьком Альткирше, и в совсем крохотной деревушке Эгалье, затерявшейся среди холмов Прованса, в которой и пишутся эти строки. Уик-энд уик-эндом, но когда

доходит до дела, до помощи, лучших друзей не надо. А мне говорят: сантимщики... Настанет время, и о них расскажу. /Вспоминаю своего истинно русского дядю, какого-то там троюродного, знаменитого на всю округу и весьма состоятельного врача-окулиста, жившего в Миргороде. Иногда он приезжал в Киев. "Тетка, а тетка? — говорил он бабушке. — Куда деньги девать? А? Посоветуй, отберут же". Мне, десятилетнему пацану, он как-то подарил набор мужских, стоячих, крахмальных воротничков. После его отъезда в уборной всегда обнаруживались шкурки от винограда, который он в одиночестве поглощал, взгромоздившись на унитаза. Дело происходило в 20-х годах.../

Итак, решено, не будем возвращаться к душе. Бог с ней. Потемки. Загадка. И не только японская, но, как видим, и наша широкая, русская. Оставим же ее в покое, хотя очень хотелось бы заглянуть в нее у какого-нибудь рядового камикадзе... Или у самурая, схватившего меч, чтобы воткнуть его себе в живот.

Всего этого я не узнал и, очевидно, никогда не узнаю. А красоту увидел. И чужую жизнь, в общем-то не такую уж тяжелую, при всех инфляциях и землетрясениях. Во всяком случае, куда более счастливую и светлую, чем в стране, которую я покинул навсегда.

Что же я все-таки вынес из поездки?

Первое и самое важное — как приятно летать по белу свету. Второе — как много еще на этом белом свете глупостей. В Бангкок и Гонконг меня не пустили по моей собственной глупости — не обзавелся визой. А вот в Карачи или Исламабад меня не пустили бы, а в Париже, в пакистанском консульстве, просто не выдали бы визы, по той простой причине, что в моем "титр-де-вояже" есть штамп тель-авивского аэропорта. Этого достаточно, чтоб запретить тебе въезд в страну, кем бы ты ни был, хоть папой римским.

И третье, очень важное. Вернувшись домой и взяв в руки карандаш, знаешь, что обо всем, что ты видел, можешь рассказать так, как хочешь. Не озираясь, не прислушиваясь, не ставя перед собой задачи кого-то разоблачить или доказать

чье-то над кем-то превосходство, не боясь сказать глупость, показаться недостаточно ученым, левым, правым или Бог знает еще каким. Кое-кому, знаю, не понравится — шляешься, мол, по парижским кафе, обжираться какой-то там невиданной колбасой. Ну и шляйся, объедайся на здоровье, но писать зачем об этом, а нам, жителям Торжка, где и слово-то это — колбаса — забыли, читать об этом? Знаю, знаю, все знаю и именно то, что знаю и все-таки могу писать все, что захочу — ну разве не стоит для этого жить?

Вот и Англию вдруг вплел в рассказ о Японии. В разных концах света, разительно не похожи, а общее что-то есть, вот и вплел. К тому же, в одну попал сразу после другой. Обе расположены на островах, обе отрезаны от континента. Обе они монархии, и в обеих монархи более или менее декоративны. Обе в свое время не прочь были позариться на чужие земли. Обе могут похвастаться успехами в мореплавании. В технике тоже. Ну и еще что-то там. Но главное, что их сближает,— это любовь к традициям.

И тут я спешу оговориться.

Да, традиции. Освященные веками, незыблемые. Подушка с шерстью под сидением спикера в Палате Общин, запрет королеве въезжать в Сити без особого на то разрешения Лорд-мэра, обязательное разувание у японцев перед входом в дом, выбор жениха и невесты родителями у тех же японцев /традиция, несколько нарушаемая в последнее время/, ну и т.д. и т.д., всех не перечислишь. И все же — об этом очень точно писал в свое время Евг. Туровский, мой земляк-киевлянин и великий знаток традиций — и японцы, и англичане по живучести и закоренелости традиций не идут ни в какое сравнение со страной, впервые в мире построившей социализм.

У японцев и англичан истоки традиций теряются где-то в седой старине, сейчас они вызывают часто только улыбку, у нас же нарушение их может вызвать нечто более серьезное, чем улыбка. Попробуй какого-нибудь седьмого ноября повесить на фасаде дома портреты руководителей не в том порядке, как положено. Или вписав, допустим, Сахарова в избирательный бюллетень, зайдя предварительно под враждебно и

тут же засекающими взглядами в кабину, находящуюся в противоположном конце помещения, потом под этими же взглядами подойти к урне и опустить бюллетень. Попробуй, нет, не из озорства, а просто для разнообразия, повесить на своем доме лозунг, ну, допустим, "Да здравствуют трудящиеся острова Пасхи!", о которых почему-то ничего не сказано в призывах, опубликованных в "Правде". Попробуй, если ты женщина, зайти в ЦК, нет, даже не партии, а комсомола в брюках /в райком, может, и удастся, там нет охраны, а в горком или обком уже, думаю, не пустят/. Попробуй не подписаться на "Правду", если ты член партии. /Помню некое партбюро, где зачитывался длинный перечень нарушителей традиции, подписавшихся на журнал "Америка" и "Веселые картинки", упустив, по оплошности, "Правду". Все сидели с виноватым видом, опустив глаза/.

Список можно продолжить, но об этом, повторяю, очень хорошо и убедительно написал когда-то в "Посеве" Евг. Туровский, не буду повторяться. Короче — за ними, как всегда, не угнаться, мы всегда, во всем первые. И в лилипутах, если помните, тоже. У нас самые большие.

Вот о чем я думал, глядя в иллюминатор на проплывающую подо мной пустыню Гоби, отроги Гималаев и мечети Равалпинди и Исламабада. Только на какой-нибудь час течение этих дум было прервано посадкой в Пекине.

Сразу скажу — нигде и никогда за годы моей эмиграции не чувствовал я себя так "дома", как на аэродроме столицы когда-то самой братской державы. Еще снижаясь над ним, я ощутил нечто родное. Само здание сразу напомнило старое Внуково. Симметричное, с двумя крыльями по бокам центрального вестибюля и громадным портретом вождя в центре. Внутри его же — Мао Цзе-дуна — скульптура, под которой я, конечно, снялся. Снялся и под квадригой Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин, той, что сопровождала всю мою юность и годы зрелости. Сближали со Внуковым и русские надписи — вход, выход, почта, банк. Ну, и относительная, скромно выражаясь, пустота в киосках — сигареты, чай /жена, правда, не нахвалится/ и веера. После токийской Нариты скудно вато. Оставил

я себе на память и сколько-то там юаней с колхозницами, сталеварами и тракторами.

Не без улыбки разглядывал я китайцев в белых навывпуск рубашечках, тысячами заполнивших длинную террасу, выходящую на летное поле. Так и мы когда-то в том самом еще не стеклянном Внукове с любопытством и затаенной завистью глядели на "Каравеллы" Air-France, TWA, SAS, Sabena...

Потом пешочком, через все поле /никаких автобусов!/ пошли мы к своему самолету. Там поджидали уже нас два симпатичных косоглазых сержантика, державших стопки наших паспортов — находите свой сами. Сразу отлегло от сердца. /Когда отбирали, что-то екнуло/.

Рассказом об этом часе, проведенном на китайской территории, я мог бы ответить на тот самый последний из вопросов, который я задал самому себе — что меня больше всего потрясло? Свобода и непринужденность, которую я почувствовал на этом, правда, ограниченном, куске территории самого большого в мире коммунистического государства — и в самом здании, и на летном поле, и на прилегающем к аэровокзалу бульваре никто не остановил, не спросил, не окликнул. Ходи себе и ходи... Пожалуй, именно это — сочетание советского духа с неожиданной "свободой передвижения" по аэродрому поразило меня больше всего в этой поездке. Ходи, куда хочешь.

Мой женеvский друг и ангел-хранитель, часто летающий по делам службы в Японию и почти всегда через Москву /дешевле и скорей/, рассказывал, что в Шереметьеве из интуристского зала выйти никуда нельзя, позвонить тоже /не то что в Женеву, но и в Москву/, в киосках только "Столичная" и матрешки и никаких газет. В окна смотреть, правда, разрешается.

Вот как мог бы ответить я на поставленный вопрос — что меня больше всего поразило. Но так как очерк мой посвящен все-таки скорее Японии, чем Китаю, на прощание спою дифирамб японской фирме "Тото", фирме унитазов.

В соответствующем учреждении гостеприимного иокогамского дома, давшего мне приют, меня не на шутку встревожило отсутствие туалетной бумаги. После вынужденной и

несколько смутившей меня консультации все с теми же женеvскими друзьями я понял, что она, бумага, просто не нужна. Поворотом специального краника внизу унитаза ты вызываешь струйку теплой воды, а поворотом в другую сторону дуновение такого же теплого воздуха. Вся операция длится не более полуминуты.

Интересно, есть ли нечто подобное у Жискара или у Картера?

* * *

Тут бы и поставить точку, на все вопросы вроде бы ответил. Но еще на одном, не очень существенном, но все же любопытном событии хочу остановиться.

Место действия — гостиница "Хокусаи", в городе Сакаидэ на острове Шикоку. Утро.

Я спускаюсь из своего номера вниз, в гостиничный холл, выпить чашечку кофе с гренками и апельсиновым джемом. По-французски это называется "Пти-деженэ" и входит в оплату номера. Мои женеvские друзья уже за столиком. Она — любительница японской кухни, ловко орудуя палочками, безжалостно нарушает безукоризненно-совершенную композицию из непонятных, но таких красивых, разноцветных ингредиентов, разложенных перед ней на подносе, он, отхлебывая из пиалы кофе, погрузился в "Джепэн Таймс". Кроме них никого нет. Тихая музыка. Японская, очень мелодичная. Мальчик-портье кому-то что-то негромко отвечает по телефону. Тихо. Пусто. Постояльцев в отеле мало. Приезжавшие вчера на какую-то свадьбу — негромкие, без конца друг перед другом раскланивавшиеся, — рано утром сегодня уехали.

Хорошенькая официантка в кимоно, с кофейником и чайником в руках, интересуется, из какого из этих сосудов мне налить. Я прошу кофе. Намазываю джемом хрустящие, горячие еще гренки.

И вдруг:

— О! В "Джепэн Таймс" кое-что и о тебе...

Мой друг протягивает мне газету... Оказывается, мне хва-тает моего английского, чтобы понять, что в "Ведомостях

Верховного Совета СССР" опубликован Указ о лишении меня советского гражданства. Формулировка все та же, что и у Максимова, Ростроповича, Вишневецкой, генерала Григоренко, Оскара Рабина — "за деятельность, несовместимую с..."

Мы, трое русских постояльцев гостиницы "Хокусай", в городе Сакаидэ, на острове Шикоку, оторвавшись от кофе и прочих ингредиентов, некоторое время обсуждаем это событие, потом садимся в вызванное по телефону такси и отправляемся на судостроительную верфь "Кавасаки" — мой друг должен принять отремонтированный там танкер под названием "Гортензия", а я просто посмотреть на верфи и танкеры — никогда этого еще не видел.

Ни гнева, ни возмущения, ни огорчения, никакого другого вида эмоций прочитанное мною сообщение агентства Рейтер во мне не вызвало. Впервые узрел я в поступке правителей моей страны некую логику. Человек, позволяющий себе открыто, устно и письменно, осуждать их поступки, не может оставаться гражданином страны, которой они руководят. Он наносит ей, вернее, им, вред — его надо отвергнуть. Вполне логично. Я за логику. Почему только так долго тянули, целых пять лет? На что-то надеялись?

В моей же жизни акция эта ничего не изменила. Ни в мыслях, ни в поступках, ни в душевном состоянии. Как был я русским, таким и остался, какой бы ни носил в кармане документ. А в том невеселом, что происходит сейчас на земном шаре, меня в первую очередь, интересует, волнует, огорчает, порою бесит, но иногда внушает и надежды, это то, что происходит в России.

Люди, приезжающие оттуда, кто навсегда, кто на побывку, ничего радужного с собой не привозят. Тоска и муть. И все же в беспросветности этой нет-нет да и блеснет какой-то лучик. Для меня этот лучик — письма от Славика Глузмана. Жив, здоров, относительно, конечно. Работает. В колхозе, диспетчером. Женится. Получает много писем. Постепенно — нелегко это — адаптируется, привыкает к новой жизни.

На карте мира, висящей у меня на стене, я красным карандашом подчеркнул — Тавда. А рядом, очевидно, и Нижняя

Тавда, где живет в ссылке Славик. Это за Уралом, Тюменская область. Зимой там холодно и мы посылаем ему теплые вещи. Кажется, доходят.

Последний раз послал по почте цветные фламастеры. Дочке. Ей шесть лет, рисует. Как приятно было надписывать на конверте: почта, до востребования, Семену Фишелевичу Глузману. Семь лет мы были лишены этой возможности. Сейчас она есть. Ну, разве это не светлый луч?

А впереди?

Я все-таки верю в хорошее — при всем при том...

Конец первой части

Раиса ОРЛОВА

Лев КОПЕЛЕВ

В КОНЦЕ КРУТОГО МАРШРУТА

Из книги "Воспоминания о непрошедшем времени"

Л. К.

Она умерла 25-го мая 1977 года в семь часов утра.

Хоронили на следующий день.

Никаких траурных объявлений не было. Известить удалось лишь немногих. (Еще и месяц спустя нас спрашивали: "А как здоровье Евгении Семеновны?").

С ночи зарядил дождь — серый, холодный, осенний, то захтавший, то нараставший. К полудню маленькая квартирка была полна. В тесной прихожей в углах и вдоль стен груды — плащи, пальто, зонты.

Гроб в комнате на столе.

Она неузнаваема. Шафранно-желтая старушка. А ведь никогда не казалась старухой, даже в самые тяжелые дни болезни.

Входили и выходили друзья, знакомые, читатели. Бывшие колымчане и воркутянцы, жители соседних домов... На кухне курили. Толпились на лестнице, в подъезде.

В углу комнаты — проигрыватель. Бах. Не громко.

Василий Аксенов, почерневший, осунувшийся, молча здоровался, медленно двигался, менял пластинки.

...Гроб выносили под дождем. Автокатафалк, автобус, несколько легковых. До самой могилы провожало не меньше ста человек.

Кузьминское кладбище. Старое. Просторное. Зеленое. Широкая главная аллея. Гроб везут на каталке, вроде больничной. Распоряжался Григорий Поженян. Как всегда, решительный, громогласный. Он шел впереди с могильщиками, командовал покровительственно: "Не спешите. Осторожней. Придерживайте гроб: здесь уклон".

Свернули в боковую, узкую аллею. Остановились. Дальше нужно было пробираться по щелям-проходам между оградями.

Потемневший крест на могиле Антона Вальтера. Рядом желтела свежая глинистая яма.

Дождь утих. Гроб опять открыли. Еще явственней неестественная желтизна чужого лица. Я спросил у Васи: "Можно сказать?" Он кивнул.

— Она была рождена для счастья. Чтобы быть счастливой и дарить счастье. Растить сыновей. Писать стихи и прозу. Учить студентов. А на нее — на молодую, красивую, жизнерадостную женщину — обрушились такие беды и страдания, которые сломили многих крепких мужчин. Сталинская каторга, погубившая сотни тысяч людей. Она испытала все ужасы каторги. И там узнала о гибели старшего сына... А после десятилетнего заключения, после короткого промежутка надежд, новый арест, осуждение на вечную ссылку. И уже на свободе — смерть мужа, доктора Вальтера. Короткие радости и долгие беды. И, наконец мучительная, страшная болезнь...

Но всегда и везде она оставалась сама собой. Подобно тем деревьям на Севере, где она столько выстрадала, — деревьям, которые растут вопреки морозам и ураганам. Так и она — каждый раз поднималась над своими несчастьями.

Ее книга была первой в ряду, который еще продолжается и будет продолжаться. Все, кто с тех пор писал и пишет вос-

поминания, кто старается осмыслить трагическую судьбу нашей страны, — мы все пошли по ее следу. "Крутой маршрут" — это начало новой главы в истории нашей общественной мысли и нашей словесности... Какое счастье, что она успела сама вкусить хоть частицу своей славы. Увидела Париж, побывала у Белля в Кельне. И как радовалась она этой поездке... Горько, что не дожидая до издания второй книги.

Она мучительно умирала, смерть была избавлением от мук. И все же это была нелепо жестокая смерть, которая принесла всем нам боль... Но смерть прошла. А бессмертие будет длиться. Она будет жить, пока живы те, кто ее помнит. Будет жить еще дольше, как тот язык, на котором написана ее книга и те языки, на которые эту книгу перевели и переведут.

Потом говорила Зора Ганглевская, бывшая эсерка — невысокая седая женщина, говорила тихо, глуховатым, ровным голосом:

— ...Когда к нам на Колыму пришел тюремный этап — я тогда работала в больнице сестрой — женщины принесли ее очень больную, истощенную. В жару. Принесли и сказали: "Лечите ее. Женя должна жить. Она самая лучшая, самая талантливая. Она обо всем напишет". Мы ее выходили. С тех пор у нас была дружба. И вот, она жила и писала. А сколько могла бы еще написать...

...Последнее целованье. Крышка. Стук молотка. Отрывистый, надмогильный стук. Он и в крематории — в машинно-стандардном цехе смерти — напоминает о кладбищенских прощаниях.

Поминки были за тем же столом, на котором утром стоял гроб. Обычные поминки, печальные и хмельные, когда к концу уже иногда смеются чаще, чем плачут.

Вася вспоминал, как ездил с матерью в Париж. Дочь Тоня в этот день прилетела из Оренбурга, где гастролировал ее театр, опоздала к выносу, к похоронам и одна сидела вечером у могилы. На поминках она рассказывала, как мать любила праздничать, как веселилась и заражала весельем.

P.O.

Я ее увидела впервые в августе 1964 года у Фриды Вигдоровой, которая торжественно сказала:

— Евгения Семеновна Гинзбург-Аксенова, написавшая "Крутой маршрут", приехала из Львова.

Когда я раньше, читая рукопись, пыталась представить себе автора, передо мной вставало страдальческое, трагическое лицо старой женщины.

Моложавая, хорошенькая, веселая, полная, но движется легко. Волосы на прямой пробор, сзади пучком. Не по моде. На шее — завитки. Никакая не страдальца. Скорее благополучная дама. Холеная, ухоженная. У таких бывают домработницы, дачи, машины.

В ее лице — в мягко, но широко развернутых скулах, в разрезе глаз — и татарские, и российские простонародные черты. Этим она по-сестрински походила на Фриду — отсветы давних событий истории в лицах русско-еврейских интеллигентов.

Однажды я видела, как она разговаривает с татарской крестьянкой. Обе круглолицые, скуластые, пригожие. И говор у обеих округлый, мягкий. Резко отличный от того среднеинтеллигентского языка, который обычно звучит вокруг нас.

— Если верить в переселение душ, то я в прошлой жизни была деревенской бабой.

Через месяц после первого знакомства мы поехали во Львов, в командировку. В первый же вечер засиделись допоздна, начался ливень, и она оставила нас ночевать.

— У меня никакого угощения, только чай, яйца...

Маленькая квартирка, скудно обставленная. Репродукция Мадонны Рафаэля — она потом переехала и в Москву. Фотография Пастернака висит так, что входящие ее не видят. Я бы тоже не заметила ее, но она сама показала — только для своих. Пианино. Стопки нот.

Мы говорим, перескакиваем с темы на тему — ее и Левини тюрьмы и лагеря, московские новости, политические и лите-

ратурные. Книги ее сына, Василия Аксенова, львовская газета, в которой она работала внештатным корреспондентом.

Много рассказывала о покойном муже, Антоне Яковлевиче Вальтере. Немец из Крыма. Врач, но увлекся фольклором, записывал немецкие песни, сказки. Несколько раз встречался с Жирмунским. И арестован был "по делу Жирмунского".

Когда их обоих реабилитировали, они поселились во Львове. Доктору Вальтеру нравился город — улицы, костелы, здания, сохранившие дух немецкой готики. Они оба начали там работать. Все шло к лучшему. Но внезапно вернулась лагерная цинга.

— Авитаминоз, хотя было полно фруктов, но организм уже не усваивал... Антон ведь долго был на общих, в шахте. Семь ребер сломано. Лечила его в Москве, похоронила в Кузьминках.

9.IV.65 г. она писала мне из Львова: "Раечка, дорогая, спасибо вам большое за пересылку письма Солженицына, которое доставило мне большую радость... Пожалуйста, перешлите ему мою записку с благодарностью за внимание и доброе слово. Очень мне хотелось бы с ним встретиться, но это так трудно, поскольку и он, и я живем в провинции".

Они встретились в Москве. По телефону назначили свидание неподалеку от того дома, где он обычно останавливался, когда приезжал из Рязани. Взглянули друг на друга и отвернулись. Продолжали ждать. Потом все же сделали несколько шагов, стали неуверенно переглядываться и каждый почти одновременно сказал:

— Я вас совсем не так представлял себе!

* * *

Сохранился снимок — мы у подъезда ее львовского дома, улица Шевченко, 8. Она улыбается, щурится, глаза-щелочки. Другой снимок — в профиль. Закальвает шпильки. Поправляет волосы. Древнее женственное, кокетливое движение. Высоко поднят локоть. Изящная линия руки. Она знала, что ей идет этот жест. Любуюсь. И больно. Тридцать четыре года ей исполнилось в тюрьме. Освободилась она после пятидесяти.

Глядя на молодых нарядных женщин она иногда говорила с горечью:

— Такой я не была, это у меня отняли, украли.

Утрата "женских расцветных годов", как она сама их называет в "Крутом маршруте" была, пожалуй, горше, чем утрата самой свободы.

Во Львове она познакомилась со своим другом, Леонидом Васильевичем — полковник в отставке, — высокий, светлорусый, красивый. Я видела, как он восхищается ею, как она позволяет собой восхищаться.

23/X-64 г. она писала нам, что Леонид Васильевич уехал в Тулу к умирающей матери: "... я лишена постоянного понятливого собеседника именно в то время, когда он особенно нужен".

В 1965 году в Киеве и Львове арестовали несколько молодых поэтов и художников. По обвинению в национализме. Опять начиналось с Украины — там и тридцать седьмой начался в тридцать четвертом.

На первомайской вечеринке возник спор: правы ли молодые люди, надо ли было затевать рукописный журнал, арестовывают ли теперь без основания и т.д. Одни защищали, другие осторожно осуждали арестованных. Леонид Васильевич хотел что-то сказать, но вырвался лишь хрип, и он упал на руки Евгения Семеновны мертвым.

В те дни она все повторяла ахматовские строки:

**Все души милых на высоких звездах,
Как хорошо, что некого терять.
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.**

Но и впереди еще ждали потери.

После смерти Леонида Васильевича ей уж невмочь было оставаться во Львове. Она пишет 4/I-66 года: "...Сколько бы вы ни желали ускорить мне обмен жилья с Москвой, а он, увы, опять сорвался. В этом есть что-то фатальное... Видно, львовское кладбище никак не хочет уступить меня Кузьминскому (видали юмор висельника?)".

Перебраться в Москву помогли друзья, помогли читатели — знакомые и незнакомые. Она потом составила список людей, участвовавших в ее переезде, — больше тридцати имен.

Одни хотели помочь коммунистке, оставшейся верной знамени и после восемнадцати лет лагерей.

Другие — помочь жертве режима.

Третьи — помочь писательнице, передававшей правду и, значит, вне зависимости от ее намерений, разоблачающей систему.

Четвертые — помочь полюбившемуся другу.

В 1966 году она въехала в однокомнатную квартиру на Аэропортовской в писательском кооперативе.

Давая свой номер телефона, говорила:

— Начала так, как у всех — 151, а дальше все про меня: первое — когда? — 37, а второе — сколько? — 18.

После переезда в Москву она иногда спрашивала:

— А может быть, я должна была бы тихо сидеть во Львове, писать и писать свое?.. Но ведь живой же человек?!

Противоречия, раздор, даже раскол между писателем и человеком — один из источников драматизма последних лет жизни Евгении Гинзбург.

Она писала 5/IV-61 г. из Львова: "Да, Раечка, вы верно почувствовали, что за моим кратким поздравлением к двенадцатому празднику 8 марта стоит довольно грустное настроение. Да, с чего бы, собственно, особенно веселиться? Оставшиеся мне считанные годики, а, может, и месяцы (это не пессимизм, а просто реальный учет возраста) бегут все стремительнее, а то, что надо доделать, все еще не доделано, тонет в торопливости каждого дня..."

Она не была самозабвенно жертвенным служителем Слова. Ее могли отвлечь от работы большие и малые радости, будничные заботы и праздники, порой и просто суета.

Но память и долг властно возвращали к старой пишущей машинке без футляра, аккуратно прикрытой красной рогожной накидкой.

Она преодолевала стремление к радостям — такое неутоленное, преодолевала болезни, преодолевала страх.

После того, как в сентябре 65 года были арестованы Даниэль и Синявский и кагебисты захватили архив Солженицына, Евгения Гинзбург говорила:

— Я благодарна Никите не только за то, что нас всех выпустили, — не то лежала бы в вечной мерзлоте с биркой на ноге, — но и за то, что избавил нас от страха. Почти 10 лет — с 1955-го по 1965-ый — я не боялась.

... Если бы можно было узнать истинные самиздатские тиражи, — думаю, что "Крутой маршрут" занял бы одно из первых мест.

Рукопись попала на Запад. В 1967 году итальянский издатель Мондадори выпустил книгу одновременно по-итальянски и по-русски. Многие главы передавали по Би-Би-Си.

Министр госбезопасности Семичасный (это он назвал Пастернака после Нобелевской премии "свиньей") на собрании в редакции "Известий" заявил, что "Крутой маршрут" — "клеветническое произведение, помогающее нашим врагам".

Во Львове мы узнали, что есть другой вариант рукописи, гораздо более резкий. Озаглавленный "Под сенью Люцифера крыла". Она рассказывала об этом шепотом в безлюдном парке.

Несколько лет спустя я спросила об этой рукописи. Она ответила:

— Сожгла. Испугалась и сожгла.

Слова Семичасного вернули былые страхи. Иначе быть не могло. Не вижу я того героя, который после восемнадцати лет не боялся бы повторения. Боятся сыновья и дочери лагерников. Сыновья и дочери тех, кто тогда боялся лагеря. Боятся подавляющее большинство. И не без оснований.

Она сама пишет в конце книги: "Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навек ушиблен страхом, кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха, — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги, — я и сама порой испытываю при ночных звонках у дверей, при повороте ключа с наружной стороны."

Время, когда многие переставали бояться вопреки любым переменам на верхах, вопреки решениям свыше, еще не наступило.

Я переводила ей рецензии из американских и английских газет и журналов. Ее раздражало, что некоторые рецензенты объединяли "Крутой маршрут" с книгой Светланы Сталиной "Двадцать писем другу", вышедшей почти одновременно. Наши попытки защищать Светлану были безуспешны — она ненавидела все, что хоть как-то было связано со Сталиным.

Вскоре сняли Семичасного.

Непосредственная опасность для нее миновала...

* * *

Л. К.

В октябре 1970 года в Москву приехал президент Франции Помпиду. В числе сопровождавших его лиц был журналист Кароль — автор нескольких книг о Китае, Кубе, известный публицист-политолог. Он родился в Польше, в семье коммунистов. В 1939 году шестнадцатилетним бежал от гитлеровцев на Восток; окончил школу в Ростове, поступил в университет, стал солдатом; был арестован "за антисоветские разговоры". Из лагеря опять попал на фронт в штрафбат. После войны репатриировался в Польшу и оттуда уехал во Францию.

Кароль считается "независимым левым". Весной 1963 года он, сотрудник журнала "Экспресс", участвовал в издании "Автобиографии" Евгения Евтушенко, которая вызвала иступленную ярость Ильичева, Юрия Жукова и некоторых руководителей Союза писателей. Именно Кароль обратился тогда за помощью к Тольятти, и тот вступился за поэта.

Кароль очень обрадовался, когда его познакомили с Евгенией Гинзбург.

— Ваша книга — замечательное произведение. И документальное, и художественное. Мало сказать правду, нужно еще, чтобы ей поверили. И поверили не только те, кто ничего не знает, но и предвзятые, и обманутые. Ваша книга и убеждает, и переубеждает.

Кароль понравился ей так же, как и нам. Они разговаривали вполне дружелюбно, пока он расспрашивал, слушал. Но едва он сочувственно отозвался о Че Геваре, о студенческих бунтах в Париже в мае 1968 года, она рассердилась:

— Да что вы такое говорите! Этот Гевара обыкновенный бандит, фанатик, а ваши мальчишки и девчонки просто ошалели от дурацких лозунгов, от наркотиков. Молятся на этого Гевару, а еще хуже — на Мао.

Кароль пытался возражать, но она прерывала его все запальчивее, все громче:

— Простите, но вы ничего не понимаете. Мао — новое издание Сталина. Иногда натыкаешься на их радиопередачи — такие противные, визгливые дисканты. Как они славят своего великого кормчего, самого великого. Все то же самое, что было у нас. А ваш Сартр — идиот или подлец. Да как можно говорить о революции после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны! Бесчеловечны!

Ее голосисто поддерживали еще некоторые участники беседы. Каролю с трудом удавалось прорываться.

— Позвольте, позвольте, я не могу понять. Вы не верите вашим газетам, когда они пишут о Западе или о вашей стране. Почему же вы им верите, когда они врут о Китае. А я там был. Дважды. И подолгу. Ездил по стране. Разговаривал и с Чжоу Энь-Лаем, и со студентами, и с рабочими. У них там многое плохо, отвратительно. Есть и фальшь и жестокость. Но их система совершенно иная, чем ваша. Культурная революция была именно революцией. Молодежь восстала потому, что не хотела мириться с бюрократией, не хотела таких порядков, как у вас. Мао был достаточно умен и не только не пытался подавлять революцию, но умел примениться к ней, пытался ее направить. Конечно же, он не ангел. В Китае много страшного. И я об этом писал. Но у них там совсем другие порядки, чем у вас. Его политика противоположна вашей. В Китае впервые за сотни лет нет голодающих. Нет голода, нет нищеты... Вы воспитаны в сталинской школе нетерпимости. Вы бросаетесь из одной крайности в другую. Я понимаю ваш гнев. Вчера

и сегодня я был с Помпиду на приемах. Бюрократические спектакли. Пошлые, глупые ритуалы. Я хожу по улицам и вижу, как не похож мир Кремля и министров на мир улиц, магазинов, пивных и на этот ваш мир. Между ними пропасти. Но сейчас я наблюдаю странный парадокс — эти разные миры совпадают в одном: они чрезвычайно консервативны. Можно понять, почему ваше правительство не хочет самостоятельности масс. Но, оказывается, и вы отвергаете все революции, потому что они безнравственны. Что же, вы хотите их запрещать? Не допускать? А вам нравятся землетрясения или тайфуны? Они тоже безнравственны и бесчеловечны.

— Ах, неизбежность революции! Это сказка, придуманная Марксом. У нас в двадцатые годы троцкисты кричали о мировой революции. А теперь и вы о том же. Шведы и англичане обошлись безо всяких революций. У них безработные живут лучше наших рабочих и наших профессоров.

— Вы забываете, что и там были в свое время революции. Да и сегодня не все там согласилось бы с вами, что они живут, как в раю. А неизбежность революции — совсем не сказка. Пример — май 1968 года — застал нас врасплох. Это была настоящая стихийная революция. Никто не знал, что делать. Коммунисты растерялись больше всех. Теперь мы стараемся извлекать уроки. Мы должны быть готовы к неизбежным потрясениям. Должны воспитывать массы, чтобы предотвратить такие разрушения, такие жертвы, которых можно избежать, чтобы революция не вырождалась в террор, в тоталитаризм. Мы не хотим повторять ни вас, ни китайцев.

— Не хотите, не хотите, но умиляетесь китайскими палачами, также как Ромен Роллан и Фейхтвангер умилялись нашими палачами. Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете, что делаете! Вы и себя погубите в конце концов. Опомнитесь, когда уже поздно будет!

Кароль тоже разгорячился, перестал сдерживаться и кричал уже, почти как его оппоненты:

— Это не так, это все не так! Мы стараемся вас изучить и понять. Поймите же и вы — кроме ваших вчерашних бед, сегодня есть и другие страшные беды. На земле миллиард

голодающих. Ежедневно от голода умирают сотни тысяч детей. Во Вьетнаме, в Индонезии ежедневно убивают людей. Убивают и пытаются, и мучают... Мы сочувствуем вам. Мы говорим и пишем о Синявском, Даниэле, Гинзбурге, Галанскове, ходатайствуем, протестуем. Но мы не можем забывать о страданиях других людей в других странах. Вы кричите: "пресыщенные снобы". Но вы же ничего о нас не знаете. Да, некоторые из нас богаты. У нас достаточно денег, чтобы спокойно жить, писать статьи, книги, наслаждаться искусством, путешествовать. Но мы ввязались в политическую борьбу только потому, что так нам велит совесть, велит сострадание... А вы это называете снобизмом?

Спор иссякал безысходно. Кароль ушел едва ли не в отчаянии.

На следующий день он говорил мне:

— Гинзбург замечательная женщина. Я и раньше знал, что она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом. Она была похожа на наших студенток, на самых радикальных, тогда, в мае. Но она их проклинает, не хочет понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся убежденными консерваторами, даже реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма.

А Евгения Семеновна, вспоминая о Кароле, говорила:

— Он, конечно, умен и многое знает. Но только мозги у него набекрень. Типичный троцкист. Я их встречала в молодости. Один из таких — Гриша Волошин — даже ухаживал за мной. Противный был крикун. Я их всегда не любила. И вот, извольте, полвека спустя — опять то же самое: "мировая революция", "управлять стихиями", "вести массы". Они там, на Западе, совершенно обезумели.

* * *

...Она привыкла быть первой. В тюремных камерах, в ссылке, да, вероятно, и много раньше, — в школе, на рабфаке, в университете. Она везде естественно становилась центром, средоточием любого общества. Потому что была общительна, остроумна, часто бывала самой образованной, поражала не-

обычайной памятью, увлекательно и артистично рассказывала. К ней тянулись старые и молодые, утонченные интеллигенты и рядовые партийцы, эсеры и сталинисты, светские дамы и колхозницы...

Она испытала много несчастий, но никогда не знала ни тоски женского одиночества, ни боли безответной или обманутой любви.

Она ощущала и сознавала, что привлекательна, что помогает отчаявшимся, радуется обездоленным, сознавала неизбывность своих жизненных сил. И это сознание укрепляло ее. Она вынесла, преодолела, сдюжила ужасы восемнадцатилетней каторги.

И тогда возникло гордое сознание победы.

Сначала, должно быть, преобладало радостное удивление. Вот оно, значит, как! Все-таки сумела!

Но не могло не быть и горечи — столько в жизни безнадежно упущено...

Чем больше времени отделяло ее от Колымы, чем громче звучали голоса почитателей, тем злее донимали горькие мысли:

— Как вы не понимаете — я просто больная старуха! Все слишком поздно! Постучу на машинке полчаса и устаю, будто лес валила. Одышка, аритмия. Ах, бедная, бедная Женя, какая была когда-то неутомимая... А теперь даже думать трудно. Теперь я понимаю, что это значит — растекаться мыслью по древу. Раньше всегда считала, что это вычурный образ. А теперь сама ощущаю, как мысли растекаются, расползаются. И никому я не нужна. Противно глядеть на себя и на весь Божий свет.

Но уже через несколько дней или даже через несколько часов могла весело рассказывать:

— Сегодня я прошла двадцать тысяч шагов. Точно по шагомеру. Вначале была одышка, но я себя заставила. И вот, теперь, как огурчик. И уже не меньше четырех часов просидела за машинкой. Не знаю, что получилось, но восемь с половиной страничек почти готовы. Значит, есть еще порох в пороховницах!

Московская квартира Евгении Семеновны была обставлена без претензий, старосветски-уютно: пианино, диван с подушками, старое мягкое кресло, шаткий телефонный столик, овальный стол, накрытый скатертью с бахромой, много книг — на полках, на столе, на стульях. Большая репродукция Мадонны, привезенная из Львова, Тоня в разных ролях, Антон Вальтер, Пастернак, Солженицын, Рой Медведев, родители. Она сама в молодости.

В эту квартиру приходило множество разных людей, иногда и вовсе не знакомых друг с другом. Поэтому день рождения Евгении Семеновны праздновался обычно в два-три приема, и она очень серьезно, тщательно подбирала: кто с кем совместим за одним столом. Приходили сокамерники, соэаппники, их дети и друзья, "разночинные" интеллигенты — литераторы, инженеры, врачи, юристы, работники издательств, редакций, научных институтов, театров.

* * *

Р.О.

Случилось так, что я перечитывала "Крутой маршрут", уже написав эти воспоминания.

Сквозь первые страницы шла с трудом: спотыкаясь о сентиментальные штампы, о канцелярские, газетные обороты.

Но скоро все это исчезает, наплывает ужас, негодование, сострадание, стыд. И я уже не думаю, как это написано.

Некоторые словосочетания продолжают коробить, но теперь уже неприятны не эти слова, а я сама, их критически замечающая.

Не знаю, какими художественными средствами автор передает мне невыносимость напряжения двух предтюремных лет. Вместе с героиней-автором приближаюсь к страшному, известно, какому будущему, и тем не менее — скорей бы конец... Хотя какой-нибудь...

За пятнадцать лет после первой встречи с этой рукописью мы прочитали в самиздате и тамиздате множество разных воспоминаний о лагерях. Документальных и беллетризован-

ных, наивно-бездарных и высокоталантливых. В "Крутом маршруте" теперь уже не осталось эпизода, мысли, настроения, фактов, которые не перекликались бы с фактами, мыслями, эпизодами, настроениями других книг. И об Архипелаге ГУЛаг, — я, не побывавшая там, — словно бы теперь знаю так много: Арест, Обыск, Допрос, Камера, Лагпункт, Этап, Нары, Придурки, Вертухаи. Все эти и многие иные слова того мира прочно вошли в наш быт, в сознание, в подсознание.

...Перечитываю "Крутой маршрут", не могу оторваться. Нет, я ничего не знаю. И совершенно безразлично, есть ли на свете другие книги об ЭТОМ.

Евгения Гинзбург с полным правом могла бы повторить за Ахматовой:

**Я тогда была с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.**

Но "Крутой маршрут" единственен.

Снова вижу, узнаю "первую леди" Татарстана — Биби Зямля, Зинаиду Михайловну. Она была уверена — другие заключенные и впрямь враги, а с ней сейчас все выяснится, ошибка... И замученную в карцере "коммуниста Италиана", — я не видела ее, только слышала ее крики, но и этого не забыть. И сокамерницу Юлю. Но больше всего вижу и ощущаю ее саму.

Если все это так передается мне, так сохраняется, значит, это не просто документ. Такое под силу только искусству. Это художественное произведение. А его традиционность, неприязнительность, общедоступность, — не слабости формы, а особая форма.

Дар Евгении Гинзбург сродни тому, который сотворил "Хижину дяди Тома". Но в отличие от Гарриет Бичер-Стоу, она сама была рабыней. И по счастью, выжила, сохранила память. Ее врожденный артистизм, талант беллетриста стал богаче, тоньше, и она создала книгу, которая высоко поднялась над своим странством и своим временем.

Многое изменилось за эти годы. В начале шестидесятых

годов были месяцы, когда казалось — "Крутой маршрут" вот-вот напечатают у нас вслед за "Иваном Денисовичем".

В том экземпляре, который я перечитываю сейчас, глава "Седьмой вагон"? — одна из самых сильных, — чем-то задевает. Не сразу понимаю, почему "Евгения Онегина" в этапе декламирует не Женя, а некая Шура (она же "Васенькина мама"). И вдруг — понимание, словно удар: эта глава готовилась к печати в СССР.

Потому имена вымышленные.

Многое изменилось. Теперь уже ни в юбилейных статьях, ни в справочниках ни о ком не пишут: "погиб в годы культа личности". Пустые, в сущности, слова. Но мои современники воспринимали их как некую малую дань памяти миллионов погибших.

В городе Батуми, где пишутся эти строки, улица, которая после 1961 года называлась Октябрьской, в 1977 году снова — проспект Сталина.

И портреты генералиссимуса смотрят из многих витрин, из киосков. В нашем пансионате, в библиотеке, опять симметричны — слева Ленин, справа — Сталин. А сорок лет тому назад Евгения Гинзбург проклинала его в тюремных камерах, в лагерных бараках.

И все-таки я верю, что мои сограждане доживут до победы правдивого слова.

Верю, что останутся не его портреты, а ее реквием погибшим, ее проклятие, прозвучавшее на весь мир, ее гимн выстоявшим.

Ее неприхотливый рассказ о том, как все это было...

Июнь 77 — февраль 79 гг.

Евгения ГИНЗБУРГ

MEA CULPA

Является ли потребность в раскаянии и исповеди подлинной особенностью человеческой души? Об этом мы много шептались с Антоном в нескончаемых тасканских ночных беседах. Вокруг нас был мир, опровергавший, казалось бы, самое воспоминание о том, что не хлебом единым... Хлебом, хлебом единым, единой царицей Пайкой дышали здесь все живые, полуживые и даже совсем умирающие. Да и мы сами, наверно, еще ведем эти разговоры по старой интеллигентской инерции, а по сути и мы уже морально мертвы. И я разворачивала перед Антоном цепь аргументов в доказательство того, что мы вернулись к обществу варваров. Правда, новые варвары делятся на активных и пассивных, то есть на палачей и жертв, но это деление не дает жертвам моральных преимуществ, рабство разложило и их души.

Антон ужасался таким моим мыслям, страстно опровергал их. И я была счастлива, когда ему удавалось разбить мои доводы. Ведь я и швыряла в него такими жестокими словами, часто отвратительными мне самой, с единственной целью — чтобы он разуверял меня еще и еще, чтобы и на мою душу упал отсвет той удивительной гармонии, которой он был пронизан насковзь.

Здесь, на Беличем, мне довелось столкнуться с фактами, подтверждавшими мысли Антона. Тяжкие, но в то же время утешительные это были встречи. Я сама видела, как из глубины нравственного одичания вдруг раздавался вопль "Меа максима кульпа!" и как с этим возгласом к людям возвращалось право на звание человека.

Первой такой встречей был доктор Лик. Ледяными январскими сумерками у дверей туберкулезного корпуса постуचा-

лись двое здоровых. Одного из них я узнала, Антон знакомил меня с ним на Таскане. Это был тоже врач, но уже вольный, освободившийся по окончании срока. Сейчас он работал по вольному найму на каком-то прииске, выглядел полным благополучником. В своем "материковском" зимнем пальто с мерлушковым воротником и с черной кудрявой бородой, тоже похожей на мерлушку, он всем своим видом как бы подчеркивал жалкое положение своего спутника. Тот напоминал страуса из-за высокого роста, маленькой головы и махристых лагерных чуней на длинных ногах. Исхудание его уже было в той степени, когда даже самые старательные начальники санчасти все же пишут "легкий труд".

Это и был доктор Лик, при содействии которого Антон пять лет назад, в первый год войны, потерял зрение на правый глаз. Тогда все немцы, в том числе и врачи, были только на тяжелых общих работах. Защитных очков не хватало, и неистовый дальневосточный ультрафиолет, отраженный белизной первозданных снегов, опалил Антону глаз. Освобождения от работы не давали. Началась язва роговицы. Зрение в пораженном глазу все меркло. Антон пошел еще раз в амбулаторию приискового лагеря. Врачевал там заключенный доктор Лик. Трудно сказать, почему его оставили на медицинской работе, хоть он и был чистокровным немцем. Был ли это недогляд или имел Лик особые заслуги, но только факт: в то время, как шло массовое гонение на врачей-немцев, он продолжал ведать больницей заключенных на этом прииске.

— Да, — сказал он Антону, — да, это язва роговицы. Но положить его в больницу Лик не может. Потому что Антон Вальтер тоже немец и тоже врач. И Лика могут обвинить, наверняка обвинят, в желании спасти своих.

Антон помолчал, потом сдержанно спросил, понимает ли коллега, что возможно парасимпатическое заболевание второго глаза и в результате — полная слепота. Да, Лик понимал это. Бешеным шепотом он ответил по-немецки, что при альтернативе — жизнь Лика или зрение Вальтера — он выбирает жизнь Лика.

Я давно знала все это от Антона. И все это повторил мне

сейчас с абсолютной точностью и почти в тех же выражениях мой неожиданный гость. Он говорил почти спокойно, с той медлительностью, какая вообще характерна для дистрофиков. Иногда он повторял одну и ту же фразу, как бы боясь, не упустил ли он что-нибудь важное. Его давно небритое, покрытое рыжеватыми колючками лицо сохраняло искусственную неподвижность.

— Почему вы решили рассказать все это мне?

— Потому что я не могу спать. Мне еще нет сорока, а у меня неизлечимая бессонница. Конечно, надо пойти к самому Вальтеру. Но я подконвойный, мне туда не добраться. Сюда меня под конвоем привели на конференцию врачей. Встретил вот здесь освободившегося коллегу, и он сказал мне про вас. Я хочу, чтобы вы передали Вальтеру...

— Нас ведь разлучили. Я тоже подконвойная. Не знаю, вижу ли его еще в жизни.

— Вам осталось сроку год с небольшим. Вы его увидите. А у меня сроку — двадцать пять. Впереди еще шестнадцать с половиной. Так что я прошу вас сказать ему...

Тут обманчиво спокойное лицо Лика отчаянно задергалось в нервном тике. Но я вспомнила плотное бельмо на правом зрачке Антона и неумолимо переспросила:

— Что именно сказать ему?

И тут он закричал:

— Скажите ему, что я дерьмо! Что большего дерьма нет даже среди палачей. Те хоть прямо убивают... Что меня надо было лишить врачебного диплома. Еще скажите ему, что я не сплю. И что наяву тоже вижу кошмары...

У него оказался очень неприятный петушинный фальцет. И гримаса, искажавшая его лицо, была просто отталкивающей. Но такая сила страдания и самоосуждения была в его вопле, что я вдруг дотронулась до его рукава и сказала:

— За последний год бельмо уменьшилось в диаметре. Он лечится гомеопатическими средствами. Теперь уже немного видит этим глазом.

... Другая беличьиная встреча, похожая на эту, была для меня еще тяжелее. На этот раз дело шло о человеке, который

помог мне в тридцать девятом, а два года спустя стал "свидетелем" по новому "делу" Вальтера.

Я уже писала о нем. Это Кривицкий, работавший врачом на этапном пароходе "Джурма". Тот, который положил меня в трюмный изолятор, сдал в Магадане в больницу и этим спас от смерти. А в сорок первом, на прииске "Джелгала", он стал сексотом и под диктовку оперуполномоченного Федорова подписал протоколы, в которых излагались "факты антисоветской агитации Вальтера в бараке". Это послужило основанием для нового суда и нового — третьего! — срока. На суде Кривицкий бесстыдно произносил свою провокаторскую стряпню в лицо Антону и очень облегчил суду решение о свежем десятилетнем сроке. Вообще, этот несчастный, видимо, скатился очень далеко на своем страшном пути, потому что уже в шестидесятых годах, в Москве, я натолкнулась на имя Кривицкого, читая лагерные записки Варлама Шаламова. Кривицкий фигурирует там в той же омерзительной роли.

Не знаю, жив ли он сейчас. Вряд ли. Ведь уже тогда, зимой сорок шестого, его привезли на Беличье после инсульта, с параличом руки, ноги и частично языка. Узнав, что я здесь, он прислал мне с санитаром записку. Страшными каракулями, написанными, видимо, левой рукой, он звал меня навестить его. О том, что я имею отношение к Антону Вальтеру, он, конечно, не знал. Не предполагал, очевидно, и того, что мне известны его иудины подвиги.

Больше недели я не шла к нему, только пересылала через Грицька свой сахар. Потом доктор Баркан, которого вызывали туда на консультацию, сказал мне с кривой усмешкой:

— Что же это вы ускоряете смерть Кривицкого? Просто с ума сходит, что вы к нему не идете. А после такого инсульта малейшее волнение...

Я пошла. За несколько дней до того к нему вернулась речь. Косноязычная, неразборчивая, но все-таки вернулась. Он был в состоянии острого возбуждения. Говорил непрерывно. Это было обличительное слово. Он клеймил меня позором за черную неблагодарность. Если бы не он, разве я выжила бы тогда, на "Джурме"? А теперь, когда он в беде, я не хочу даже навестить его. Вот, явилась на двадцатый день...

Что было отвечать? Объяснять причину моей черной неблагодарности — значило, спровоцировать ухудшение его болезни. Молчать? Невыносимо. Он вызывал во мне скользкое чувство брезгливости не только тем, что я знала о его прошлом, но и своим нынешним видом. Его мутные, уже готовые остуденеть глаза все еще источали хитрость и ложь. Рот был перекошен не только параличом, но и великой злобой. Я положила на тумбочку сверток с едой и молча вышла.

Прошло несколько дней, и я узнала, что у Кривицкого — второй удар. Теперь он опять без языка и почти неподвижен. Только левая рука еще жива, и вот он написал мне записку. Передавая мне ее, наш старший санитар сказал:

— Наболтали там ему новые больные, что вы знаете, кто дал доктору Вальтеру третий срок.

Мы втроем разбирали записку. Она была довольно пространный, но в иероглифах этих почти невозможно было разобратся. Смогли мы прочесть только слова "Простите" и "Умру завтра"...

Да, его левая рука еще была жива. Она судорожно хватала меня за полу халата, она метушилась по одеялу, в ней была какая-то особая сила выразительности. Именно по руке я поняла, что он просит прощения. Глаза его были закрыты. Я села на табуретку, наклонилась к нему и шепотом сказала:

— Вы мне сделали добро. Я помню это. А остальное... Я рада, что вы просите за это прощения. Я уверена, что Вальтер простит, когда я расскажу ему о ваших мучениях. Я проклинаю тех, кто воспользовался вашей слабостью...

Один его глаз открылся. Из него лились слезы, и он был живой, не злой, несчастный.

... И еще раз пришлось мне наблюдать на Беличем, как может корчить человека от мук угрызенной совести и как сравнительно с этой пыткой ничего не стоят ни тюрьма, ни голод, ни, может быть, и сама смерть.

Больного Фихтенгольца доставили с последней партией бурхалийцев. Примерно тридцатилетний, он был красив ангельской, белокурой, нежнолицей красотой. По документам значилось, что Фихтенголец — зека, получивший поселение на

неопределенный срок, до особого распоряжения, что он житель города Тарту, эстонец. Но странно было, что по-эстонски он объяснялся с большим трудом.

— Какой он эстонец! — недружелюбно ворчали наши старые эстонские пациенты, — хлеба по-эстонски попросить не может!

По-русски он и совсем почти не понимал. Вскоре выяснилось, что Йозеф Фихтенголец эстонец только по отцу, которого он потерял в раннем детстве. По матери он немец, и родной его язык — немецкий.

Болел он очень тяжело. Температура никак не снижалась. По ночам задыхался, бредил, отчаянно метался на своем топчане.

Наш доктор Баркан, чем ближе подходило к сроку его освобождения, тем все более отрешенно взирал на мир своими остзейскими глазами. Он не очень-то затруднял себя дифференциальным диагнозом. Все поступившие к нам больные заранее считались туберкулезниками, всех одинаково лечили вливаниями хлористого кальция. Но однажды, в выходной день Баркана, обход за него провел доктор Каламбет, как две капли воды похожий на Тараса Бульбу, умудрившийся даже в лагере остаться толстячком. С его появлением в наше преддверие морга как бы входила сама жизнь. С прибаутками, забавными ужимками и украинскими поговорками Каламбет уточнил диагнозы, приободрил многих больных, а про Йозефа Фихтенгольца сказал:

— А это ведь не ваш больной, а мой. У него крупозная пневмония. Скажите Баркану, пусть к нам, в главный терапевтический, его переведет.

Но Баркан ударился в амбицию. Его диагноз не мог быть ошибочным. И он продолжал назначать Йозефу все то же бесцельное лечение.

Однажды ночью Грицько разбудил меня.

— Идись, сестрица, до того херувимчика... Бо вин, наверно, сдае концы...

Фихтенголец весь выгнулся в жестоком приступе удушья. Голубые глаза вылезали из орбит. По лицу катился холодный пот.

— Их кан ниht мер... Битте... Люфтэмболи... Махен зи люфтэмболи, ум готтесвиллен....

Я не сразу поняла, что такое "люфтэмболи". Поняв, содрогнулась. Я слышала, что такой способ убийства применяется в гитлеровской медицине. Введенный в вену наполненный воздухом шприц, говорят, вызывает воздушную эмболию и смерть. И он хочет, чтобы я сделала такое!

— Вы сошли с ума! Мы не фашисты! Мы не убиваем, а лечим больных!

Да, но его уже нельзя вылечить. Так пусть же сестра не длит его агонию, он не в силах больше страдать...

Что делать? Бежать за Барканом бесполезно. Каламбет тоже не пойдет, не захочет осложнять отношений с Барканом. И тут я поставила перед собой вопрос, который уже не раз выручал меня здесь, на Беличьем. А что сделал бы в этом случае Антон?

У больного отек легкого... Надо дать отток крови. В лагерных условиях старинный метод кровопускания не раз спасал людей в тасканской больнице. Терять нечего... Я подставила тазик, ввела в вену большую иглу. Медленными крупными каплями, похожими на ягоды красной смородины, кровь стала капать в таз и тонкими струйками растекаться по его белому дну. Сердце у меня отчаянно колотилось. Не путаю ли? Сколько граммов крови спускал таким образом Антон?

Больной вдруг перестал стонать и даже словно задремал. Дрожащими руками я ввела ему камфару. Что еще надо? Ах да, горячий сладкий чай, покрепче.

В общем, я спасла его. И на утреннем обходе Баркан насмешливо сказал мне:

— Ну вот, видите? Вы с Каламбетом сомневались в моем диагнозе. А смотрите, как улучшилось состояние больного от хлористого кальция.

Не знаю, понял ли Фихтенгольц эту реплику, но во всяком случае между мной и им было решено — без всякого сговора, одними взглядами — не говорить Баркану ни о ночном кровопускании, ни о том, что хлористого кальция я ему не вводила.

Он стал мне дорог, как всегда нам дороги плоды наших усилий. И когда он перешел в разряд выздоравливающих, а

температура его нормализовалась, я нарочно писала ему в истории болезни тридцать семь и пять, чтобы он успел лучше окрепнуть, чтобы подольше пробыл вдали от прииска Бурхала. Я отдавала ему половину своей еды. Это было совсем не трудно, потому что от тяжелого труда и спертого воздуха я почти вовсе потеряла аппетит. А он ел с жадностью возрожденного к жизни смертника и на глазах наливался здоровьем.

На мои заботы он отвечал безмолвным обожанием. Он вообще был молчалив и ничего о себе не рассказывал, даже если я задавала ему вопросы по-немецки. Но вот однажды наш старший санитар Николай Александрович, получая обед на кухне, где сходились все беличьи новости, принес об Йозефе Фихтенгольце неважные сведения.

— Гитлеровский офицер он! Подумать только! А его наравне с нашими, кто честно сражался, а виноват только в том, что попал в окружение...

Это был удар для меня. Выходит, я спасала убийцу, может быть, эсэсовца?..

— А откуда узнали?

— Все говорят...

Это было еще далеко не точно. Известно, как разрастаются при передаче из уст в уста лагерные слухи. Я ничего не сказала Фихтенгольцу, но стала придирчиво присматриваться к его поведению. Оно было безупречно. Он изо всех сил старался быть полезным для корпуса. "Аккуратист!" — одобрительно отзывался о нем Грицько, которому он помогал в уборке. Особенно старательно он мыл пол в моей кабине, натирая неструганые доски до зеркального блеска. Кроме того, он дарил мне деревянные фигурки своей работы. Каким-то чудом у него сохранился маленький перочинный ножик, и он вырезал им из кусочков дерева удивительные вещицы, неуклюже-грациозные, полные мысли и таланта. Однажды он принес мне двух маленьких ангелов, подобие тех, что в подножии Сикстинской Мадонны.

— Это вам, — сказал он, преданно глядя на меня, — потому что вы сами ангел.

Мы были наедине. Тут-то у меня и сорвались страшные слова, которых, наверно, не надо было говорить.

— Я ангел? Что вы! Обыкновенный человек. И если бы вы меня встретили года три назад и в другой обстановке, вы бы сожгли меня живьем в газовой камере или удушили на виселице...

— Я? Вас? — Его красивое лицо пошло багровыми пятнами. — Но почему?

— Потому что я еврейка. А вы, кажется, фашистский офицер?

Он резко побледнел и упал на колени. Мне показалось, что он испугался разоблачения, и я удвоила удар.

— Не бойтесь! Если о вас не знают, то я доносить не пойду...

Он вскрикнул, как будто в него попала пуля. И я поняла, что ошиблась. Не страх, а именно муки совести терзали его. Те самые корчи, которые ломают почище любой телесной боли. До сих пор не знаю, служил ли он гитлеровцам и как именно служил. Но ясно, что было ему в чем каяться.

Сраженный неожиданностью удара, он забыл свою обычную сдержанность и осторожность. Стоя передо мной на коленях, он рыдал во весь голос, как ребенок, хватал мои руки, пытаясь целовать их, и без конца повторял одно и то же: "Я верующий человек... Разве я хотел? Разве я хотел?"

И такая глубина отчаяния была во всем этом, что я на какую-то секунду пожалела, что так боролась за его жизнь. Может, лучше ему было умереть, чем жить с таким грузом? Не знаю, может, он и был фашистским зверем, а может, только слепым исполнителем зверских приказов. Во всяком случае сейчас, в этой своей неизбывной муке, он стал человеком.

Мне могут возразить, что гораздо чаще встречаются люди, громко вопящие о своей невинности, перекалывающие свою вину на эпоху, на соседа, на свою молодость и неискренность. Это так. Но я почти уверена, что такие громкие вопли призваны именно своей громкостью заглушить тот тихий и неумолимый внутренний голос, который твердит тебе о личной твоей вине.

Сейчас, на исходе отпущенных мне дней, я твердо знаю: Антон Вальтер был прав. "Меа culpa" стучит в каждом серд-

це, и весь вопрос только в том, когда же сам человек услышит эти слова, звучащие глубоко внутри.

Их можно хорошо расслышать в бессонницу, когда, "с отращением читая жизнь свою", трепещешь и проклинаешь. В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не участвовал в убийствах и предательствах. Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все равно чем. Бездумным повторением опасных теоретических формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным писанием полуправды. Меа culpa... И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины.

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ

КРУТОЙ МАРШРУТ (2-й том)

*Издательство Арнольдо Мондадори /Милан/
На русском и одновременно на итальянском языках*

В литературе, посвященной теме "Архипелага", до книги А. Солженицына "Крутому маршруту" Евгении Гинзбург принадлежало первое место. Но в первом томе, вышедшем на Западе в 1967 году, когда еще мерещилась возможность его издания в СССР, Евгения Гинзбург сказала всю правду о лагерях, но не всю правду о себе...

Второй том появляется уже после смерти автора. Он не только продолжает жуткое описание северных женских лагерей и ссыльных поселений, но повествует о внутреннем маршруте, о постепенном освобождении от коммунистической идеологии, о постепенном восхождении к христианской этике и истине.

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ

LESEDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Genevieve, 75005 Paris.

Tel.: 354 74.46 - 354 43.81

Лицо русской литературы меняется, когда в нее возвращаются исчезнувшие было писатели: Пильняк, Бабель, Борис Корнилов, Сергей Васильев, Мандельштам, Клюев, Иван Катаев, Бунин, Куприн, Цветаева, Ходасевич, Волошин, Федор Сологуб... Тени одних возвращаются из лагерей и тюрем, других — из эмиграции, третьих — из идеологического остракизма. Возврат к истине — это значит возврат к подлинному облику литературы. В конце двадцатых годов Виктор Шкловский призвал к гамбургскому счету, — когда борцы не жулят и не "ложатся на лопатки по приказанию антрепренера", а "...борются при закрытых дверях. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться". "Долго, некрасиво и тяжело" мы возвращаемся от фальшивых слав к подлинным оценкам, от искусственно раздутых репутаций к нормальным. Под новой рубрикой "Литература нашего времени: возврат к истине" мы публикуем в этом номере стихи Инны Лиснянской, которые предвзвешивает вводная статья Е. Эткинда.

Ефим ЭТКИНД

У ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ В ПЛЕНУ

О поэзии Инны Лиснянской

Этот чистый и глубокий голос звучит уже много лет — первый сборник стихов Инны Лиснянской вышел в 1957 году /"Это было со мной"/, последний — совсем недавно, в 1978 году /"Виноградный свет"/. Двадцать лет в литературе — большой срок. Любители поэзии с волнением встречали ее сборники, и каждый из них имел негромкий, но устойчивый и серьезный успех. Особенно "Виноградный свет", где Инна Лиснянская сказала многое со свойственной ей жесткостью. Сказала о своей привязанности к жизни и любимым. О неизбежности близкой смерти. О бездомности и одиночестве. О поэтическом слове, его немислимости и чуде его внезапного, ошеломляющего рождения, потому что "мысль обречена на слово", — и в то же время о безграничной содержательности молчания, потому что ведь "...говорим мы зачать", когда нам не о чем молчать".

Сборник "Виноградный свет" — одна из вершин современной русской лирики. Порыв к внутреннему освобождению /"Преодолею сознание холопье..." — 71/, вопреки обступаю-

щему одиночеству, неодолимой бездомности и принимающей все более определенные очертания смерти, одухотворяет всю книгу. И еще одно — гармонизирующая красота поэтической формы, которая преодолевает несущий уродство смерти хаос. Из этой воли к преодолению хаоса и распада красотой искусства неожиданно рождается классический сонет, который, как это ни удивительно, — оформляет кроваво-кошмарные воспоминания о военной юности:

Судьба меня за шиворот берет,
Бросает в ночь сорок второго года, —
Перевернул мне душу этот год:
Стоит брезентом крытая подвода
У госпиталя, там, где черный ход;
Гружу я трупы за мензурку меда,
За черный, с красным джемом бутерброд.
Мне лед мертвецкой руки ест, как сода.
Я — школьница, подросток...

Инна Лиснянская, автор "Виноградного света" и предшествующих четырех сборников, — прекрасный лирический поэт. Но как же много теряет читатель, видя стихи, отобранные для публикации по принципу "не слишком"...

Не слишком отчаянные или безнадежные. Не слишком мятежные. Не намекающие на современность и сегодняшнюю боль. Не упоминающие о еврействе автора и о трагедии евреев, изгоняемых из России. Не называющие /пусть даже в посвящениях/ поэтических учителей, друзей, единомышленников: Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Марию Петровых, Лидию Чуковскую, Семена Липкина. Не касающиеся запретной темы лагерей...

Для сборников стихи отбирались редакциями на основе всех этих критериев. А иногда — их увечили: обрубали ноги. Вот пример. Есть в "Виноградном свете" хорошее стихотворение:

Возят на рынок картошку и сало,
Ягоду, тару, тряпье.
Мне хорошо, я еще не узнала
Куплю и тщетность ее.

**В доме напротив два друга устало
Тянут хмельное питье.
Мне хорошо, я еще не узнала
Дружбу и скуки ее.**

**Возле кладбища в начале квартала
Праздно орет воронье.
Мне хорошо, я еще не узнала
Славы и праха ее.**

Что же, в этих трех строфах и мысль законченная, и сюжет движется вверх: купля — дружба — слава. Можно и так. Одна-ко есть у стихотворения еще две строфы:

**Старый партиец смахнул с одеяла
"Правду" — обрыдло вранье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Веры и краха ее.**

**Поезд тюремный уходит с вокзала
В тундру, где волчье вытье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Воли и смерти ее.**

Ряд другой, более полный: купля — дружба — слава — вера — свобода. Оказывается, что бренность бытия — "прах славы" — трагична, но "крах веры" и "смерть воли" трагичнее. Пастернак, обращаясь к поэту, говорил ему: "Ты — Вечности заложник у Времени в плену" — обе стороны формулы неизбежны. От поэта, принадлежащего только Вечности, веет холодом; тот, который полностью во власти Времени, мелок. Советская цензура /или, может быть, автоцензура? Это, впрочем, одно и то же/ отрубили у стихотворения Лиснянской строфы о Времени, сохранив лишь Вечность.

По напечатанным ниже стихотворениям Инны Лиснянской читатель, знакомый с ее сборниками, увидит, что такую же точно операцию произвели над всем ее творчеством: из нее делали "заложника вечности". А Время для нее важно: не к Вечности — к нашей современности относится и предчувствие "грядущей Голгофы", и вопрос Руфи: "Сладко ль итти на

чужбину?..", и темы Сибири, казней, каторжанки, и горькое сознание того, что "правнучке Рахилевой есть над чем рыдать" — помимо монархических эмблем орла и лилии; и ужас гетто; и картина переделкинского кладбища, где "спят ряд за рядом, ряд за рядом старые большевики", над которыми "лишь посмертные кручины да бессмертные грехи", и скрипач, играющий еврейскую мелодию над могилой отца, военного врача, умолявшего дочь: "не пишишь еврейкой..." Все это отброшено, осталась только Вечность, да мелькающие кое-где реалии, вроде больницы. Поэт могучего общественного темперамента превращен в поэта, не замечающего других. Борец за людей стал эгоистом. Не этим ли объясняется то, что к великолепному поэту отнеслись более или менее равнодушно? "Она безразлична к нам, ко всем нам — вот и мы равнодушны к ней": так обычно и бывает. Сама же Инна Лиснянская не это ли искажение своего облика имела в виду, когда в 1978 году, — видимо, после выхода в свет "Виноградного света", — писала:

**Ты всматривалась в зеркала,
Но подлинного отраженья
Никак найти в них не могла.
Стекло лицо твое коверкало...**

Публикацией нескольких лирических стихотворений, написанных Инной Лиснянской за последнее десятилетие, мы стараемся хоть отчасти вернуться к истине — восстановить подлинное лицо поэта, исковерканное тем стеклом, в котором оно отражалось прежде.



Инна ЛИСНЯНСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.

О плоские булыжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Затоптанная Русь!

Молчат твои мятежники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле,

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.

72 г.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Но прости-прощай,
Хлебом не стражай,
Я ведь шла не для
Твоего рубля,
Я ведь шла к тебе,
Как судьба к судьбе,
Как к добру добро,
Как к ребру ребро,
Как к крылу крыло.
Да не приросло
К одиночеству
Одиночество.

* * *

Уже ни в какую палату
За зря попадать не хочу
И тридцать вторую сонату
Весь день про себя бормочу.

Все слышу я как бы сквозь воду:
Будильник и шум из окна,
И что-то еще про свободу,
Которая мне не нужна.

Но дерзко оглохшего уха
Касается чья-то рука,

Мол, все понимаешь, старуха,
А хочешь свалить дурака!

Склоняюсь над чашкою кофе,
Чтоб впрямь за глухую сочли
И весть о грядущей Голгофе
В глазах у меня не прочли.

1975 г.

* * *

Напрасно выбили
Из рук моих вино!
Я сладость гибели
Предчувствую давно,
Но не цыганская
Влечет меня гульба,
А каторжанская
Мерещится тропа.
Средь снега вешнего
На третью на зарю
Я обрусевшего
Христа на ней узрю.
Магдальским мирром
Здесь не пахнет и в жару,
Оленьим жиром
Я ступни Ему натру,
Власы распустятся,
Прильнут к его ступне, —
Ужель отпустится
Мое бесовство мне,
И с успокоенным
Я упаду лицом,
Когда конвойные
Прошьют меня свинцом?!..

72 г.

* * *

Средь мертвой тишины
Мне ветер напевал:
Не выйти из войны
Тому, кто воевал!

Среди кромешной тьмы
Бездомный ветер пел:
Не выйти из тюрьмы
Тому, кто в ней сидел!

Оглохла. Но стервец
Допел свое в дали:
Не жди! Скорей мертвец
Воспрянет из земли!

75 г.

* * *

Как должно Божьим сиротам,
Смирилась я с судьбой, —
И с Каином, и с Иродом,
Да и сама с собой,

Но вот — ни птичьим пением,
Ни пенем вешних вод,
А бешеным смирением
Всю душу мне трясет.

1978 г.

* * *

Шуми, шуми, моя дубрава!
Лети, лети, моя листва!
Я больше не имею права
Недоговаривать слова.

С непринужденностью жестокой
Жизнь обнажила остря, —
Могу податься в край далекий,
Могу и здесь остаться я.

Играй-ка, скрипочка-злодейка,
О том, как схожи времена!
Останусь — мне цена копейка
Иль горсточка золы — цена.

Уеду — горестной улыбки
И слез злорадных не таю:
Дороже антикварной скрипки
Вдруг оценили жизнь мою!

Но все ли скрипкою допето?
Иль, может, выкупит меня
У милой родины из гетто
Мне незнакомая родня?
1975 г.

ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

День истлел. Переселилось
Слово в желтую звезду.
Нет, ни с кем я не простилась
У погоста на мосту.

На погосте я гостила,
Здесь — деревья и кусты,
Разномерные могилы,
Разноростные кресты, —

"Мы простимся на мосту"
Я. Полонский.

Деревянные, простые,
С червоточинным нутром,
И железные, витые,
Крашенные серебром.

А поодаль, за оградой,
Спят, разжавши кулаки,
Ряд за рядом, ряд за рядом,
Старые большевики.

И над ними — ни осины,
Ни березы, ни ольхи,
Ни травиночки единой —
Лишь посмертные кручины
Да бессмертные грехи,

Да казенные надгробья,
Как сплоченные ряды.
Господи, твои ль подобья
Дождались такой беды?
72 г.

* * *

Мой отец — военный врач, —
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
Он за музыку, как пульс,
Нитевидную,
Отдал пенсию, клянусь,
Инвалидную.
Он, как видишь, не ловкач, —
Орден к ордену,
Но играй ему, скрипач,
Не про родину.
Бредит он вторую ночь
Печью газовой,

— Не пишись еврейкой, дочь, —
 Мне наказывал.
 Ах, играй, скрипач, играй!
 За победу
 Пусть ему приснится край
 Заповеданный!
 За него ль он отдал жизнь,
 Злую, милую?
 Доиграй и помолись
 Над могилою.
 1975 г.

* * *

Ни красы божественной,
 Ни бесовских чар, —
 У меня наследственный
 Плакальщицы дар.

Лилия не вправлена
 В локон завитой,
 А душа отравлена
 Кровью пролитой.

Воля и насилие
 Пили заодно
 Из бурбонской лилии
 Алое вино,

Пулей делу правому
 Пролагая путь,
 И орлу двуглавному
 Прострелили грудь.

Тронула я перышко
 Левого крыла,
 Ах, как эта кровушка
 Руку обожгла.

Об орле и лилии
 Мне ль сейчас страдать,
 Правнучке Рахилевой
 Есть над чем рыдать.

Но слезою горькою
 Плачет мертвый сын,
 Не едино горе ли,
 Если Бог един!

1975 г.

* * *

Судьба пытала, брила наголо,
 И ты жила сверх всяких сил, —
 Лицо смеялось, песня плакала,
 Народ руками разводил.

Ты, и поняв всю степень бедствия
 Слыть полоумной иль чужой,
 Не находила соответствия
 Меж оболочкой и душой.

Но было и страшней мучение:
 Ты всматривалась в зеркала,
 Но подлинного отражения
 Никак найти в них не могла.

Стекло лицо твое коверкало,
 Но пела пустота в тиши,
 Что кроме музыки нет зеркала
 У человеческой души.

1978 г.

* * *

Этот город — арестантская одевка,
Полосатый и застиранный мешок,
В нем давно себя не чувствую неловко,
Ничего не замышляю поперек.

Ни к чему мне и свирепая усталость,
И воинственная русская вина...
Что с того, что я надолго задержалась,
Что с того, что эта улица темна?

Провод голый ухватить рукою голой —
Неужели вспыхнет света полоса?
Я понизила, а ты возвысил голос,
Я зажмурилась, а ты раскрыл глаза.

Ангел мой, полуседой и бесноватый,
Ты зовешь меня из мрака моего
В тот просвет, куда уходят все закаты
И откуда не приходит ничего.

Фосфорическая кошка ест из блюда,
Единица придвигается к нулю...
Мне бы вздрогнуть, мне бы вскрикнуть и очнуться,
И проснуться — но давным-давно не сплю.

1978 г.

САМОУБИЙЦА

Весь город был как на ладони.
С пятнадцатого этажа
Он виден был, как на иконе
Видна сквозь трещину душа.

Но так ли думала жилица,
Руками плечи обхватив,
Когда со страхом наклониться
Смотрела в городской обрыв?

Что в голове ее вертелось?
Что было живо, что мертво?
Поскольку многого хотелось,
Ей не хотелось ничего.

Вот и сегодня для порядка
Надела шляпу и пальто...
Но это домысел, догадка, —
Ни я не знаю и никто,

Зачем окно высотной башни
Вдруг выплеснуло всю, до дна,
Судьбу из емкости домашней
Туда, где город и весна.

1977 г.

ТОПТУН

Обшарпаны стены,
Топтун у ворот:
"Опасная стерва
В том доме живет.
О русском народе
Бесстыдно скорбит,
Транзистор заводит
Да суп кипятит.
Перлового супу
Хватает на пир,
Читает сквозь лупу,
А слышит весь мир,

Л. Чуковской

И в колокол Герцена
Яростно бьет!"...

Топтун свое зеркальце
Вдруг достает,
Чтоб вновь убедиться,
Что он человек,
И с ним не случится
Такого вовек.

1974 г.

* * *

Возят на рынок картошку и сало.
Ягоду, тару, тряпье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Куплю и тщетность ее.

В доме напротив два друга устало
Тянут хмельное питье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Дружбы и скуки ее.

Возле кладбища в начале квартала
Праздно орет воронье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Славы и праха ее.

Старый партиец смахнул с одеяла
"Правду" — обрыдло вранье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Веры и краха ее.

Поезд тюремный уходит с вокзала
В тундру, где волчье вытье...
Мне хорошо, я еще не узнала
Воли и смерти ее.

69 г.

Следует долг за любовью,
Но сэкономлю слова, —
Твердо идет за свекровью
Руфь, молодая вдова.

Сладко ль идти на чужбину, —
Знает лишь Бог да она,
Бьются пожитки о спину,
Ноет плечо и спина,

И образуется ранка —
Груб сыромятный ремень,
Смуглая моавитянка
Жарит на ужин ячмень.

А за спиною — кумиры
И дорогая родня.
Но милосердием мирры
Пахнет зерно ячменя.

До Вифлеема неблизко,
Нет при дороге воды, —
Горсточка зерен, да искра —
Искра грядущей звезды...

1977 г.

* * *

Над ореховою рамой
Света желтого пучок,
А в стекле чернеет яма —
Мой коричневый зрачок.

Мне в него смотреть не надо
Ни в какие времена,
Там — от рая и до ада —
Вся судьба погребена.

Свален в кучу мир наружный —
Люди, звезды, города,
Обескровленная дружба,
Обветшалая вражда.

1978 г.

Надежда ПАСТЕРНАК

БОЛЬ ВО МНЕ

СНЕЖНЫЕ ПТИЦЫ.

Снежные птицы-паломницы,
что-то во мне надломится,
когда я взгляну на вас,
на белый иконостас.

Живете на ветках, пролитых
в зимние рукава,
прислушиваясь, как молится
под снегом глубоким трава.

Клюв под крыло упрятанный,
будто его украли,
забытые, точно памятники,
разрушенные, опальные.

Застыли деревья-стражники
в воздухе из стекла,



и видно, как птицы колотятся
внутри голубого ствола.

1979

ФИЛОСОФИЯ ЗИМЫ

I.

Сквозь тонкие стаканы
продымленных сосулук
деревья спят, как мальчик,
уснувший в карауле.

Божественны сосульки,
придуманная сладость —
в них веточки, как слуги,
надвое сломались.

А на небо посмотришь,
там месяц, точно скобка,
единственная в небе,
лежит в звездах, как в сотах —
как стебелек на хлебе.

II.

Я сегодня в разладе со всем, что любила.
(Снег, как грейпфрут поскрипывал,
солнечный ястреб сидел на ветвях).
Снежок — ты игрушка из алюминия,
божественна сладость твоя на зубах.

Есть снег одинокий, а есть — одиночество,
где дни, как костяшки, бегут со счетов,
с разгону миную пророчества.

Ладонями в снег, и лицу так отрадно...
И ты улыбаешься: вздумала, хобби.
Фонарные блики желты, как оладьи.
Х-о-под-но.

1975-76

* * *

Деревья не причесаны и зябки.
Обычай соблюдая января,
не гневаясь и не играя в прятки,
лежат снега, как белые моря.

В лесу свирели синие на ветках,
волнение, знакомое перу.
В снегу — следы, а на деревьях — метки,
покрывшие морозную кору.

Высоких птиц безмолвное паренье
под соколиный нежный снегопад.
А звери, погода чуток, степенные
и вольные, уходят в зимний сад.

1973-74

ПОСЛЕДНЕЕ МАМИНО ЛЕТО.

Дождь собирается.
Тучи осипли.
Сад обмирает —
весь в пластилине.
Хор лягушачий.
С — о-о-н
порыжелой травы.
Лето прозрачное.
Нежное — до наготы.

* * *

Есть боль во мне, как загнанный ребенок,
 рисующий на собственных ладонях,
 на солнце апельсиновом лежащий,
 перебирающий песок наждачный.
 Есть боль во мне, но ты не слышишь,
мама.

Ты — смерти дочь, а я дитя разлада.
 И мы с тобою встретимся однажды —
 там, где граница, где песок наждачный.

Есть боль во мне, как лунки на дорогах.
 Нет в этой боли, в этих лунках, пользы.
 И я молчу. Я думаю о Боге,
 так, как ребенком думала о взрослых.

1975

* * *

Как гончая жару на языке,
 июль притащит август на ступеньки.
 Он лучше б утопил его в реке,
 он продал бы его на рынке.

Но нет. Благополучно притащил
 и подарил, как редкую обнову,
 и положил на деревянный щит
 бродягу-август в колкой тоге.

Я август не решусь благословить,
 в нем смерть звенит, как пойманные пчелы,
 орехи о траву стучат, как четки —
 и фиолетов запах слив!

1976

* * *

Уже мне надоели катера,
 меня не увозящие отсюда.
 Завязанная в узел кутерьма.
 Уже мне не близка такая доля.

Уже мне не близка такая доля.
 Не увидеть просвета в этом дне,
 и рыбкою зеленою в затоне
 уснуть, покуда катер на мели.

Уснуть покуда ветер на мели.
 И видеть сон. Томительный, как лето.
 Где воробьи купаются в пыли,
 растаскивая веточки сонетов.

Где в зелени причудлива земля,
 где зеркала прохладны, как вода,
 и кожей змеи лежит трава,
 и близко-близко тают облака.

1977

ДЕНЬ

Вся комната заполнена печалью.
 Невыразимой, как дыхание сна.
 Два голубя с пятнистыми плечами
 присели на карнизе у окна.

Светает. Мягкой меховой ладонью
 сметает утро легкий иней снов,
 и возникает узловатый корень
 тобой произнесенных слов.

Еще несется над порталом,
еще кружится над кварталом
птиц обнаженная звезда...

1979

ПОСЛЕДНЕЕ

Последняя изысканная осень
легла на плечи выпавшим крылом,
рождая преждевременную плесень
безлиственным замшелым ртом.

Вот сон ушел паромом по течению,
не перегнав загадку — не догнав...
Последнее осеннее крещенье
в падении своем не опознав.

И день последний высохшей сосною
рыбит в глазах и обещает страсть.
Деревьями — облитыми смолою —
Последний Бах!

1970

Григорий Свирский НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(ЛИТЕРАТУРА НРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1946-1976 гг.)

Эта книга, с исключительно яркой, полемически острой манерой письма, есть в первую очередь и следовании послевоенной литературы. Причем, несомненно, исследование событийного значения. Г. Свирский вдумчиво, проникновенно «читает» официально изданные произведения В. Некрасова, В. Пановой, Д. Гранина, В. Гроссмана, В. Дудинцева, В. Тендрякова и др. ...И оказывается, что каждый из них открыл какую-нибудь из проблем эпохи, показал ту или иную сторону советского действительного бытия. Попутно автор снимает с пласта настоящей литературы шелуху обвинений в постоянных уступках и компромиссах с властями, в иллюстративности партийно-правительственных решений.

Захватывающе интересны страницы, посвященные творчеству и личностям Ахматовой, Паустовского, Эренбурга, Солженицына, авторам самиздата, бардам «магнитофонной революции, историческому значению журнала Твардовского «Новый мир».

«На лобном месте» — одновременно и мемуарные записки современника. Обладая незаурядными памятью и талантом, Г. Свирский воспроизводит атмосферу литературной жизни России сталинского, хрущевского и брежневского периодов. «Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, — пишет в предисловии к книге проф. Е. Эткинд, — а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи». Отмечая далее, что в истории литературы часто пропадают атмосферные явления, окружающие писателей и их книги, проф. Эткинд заключает: «Благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенке, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия».

С познавательной точки зрения, книга представляет несомненный интерес как для массового читателя, так и для славистов, изучающих современную русскую литературу.

Англия 1979. 620 стр. Мягк. пер. ДМ 40.— Тв. пер. ДМ 48 —

Пересылка за счет заказчика

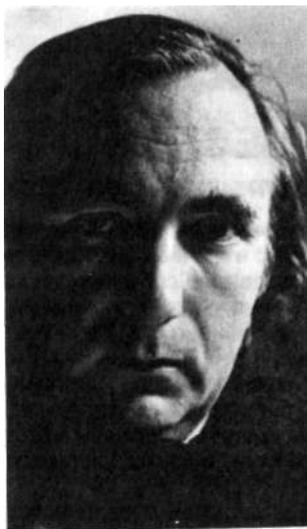
Требуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany

Тел. 37-05-34



ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ,
КРИТИКА

Лев НАВРОЗОВ

ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ И СПАСЕНИЕ ЗАПАДА

Вместо предисловия

В 1974 г. американский журнал "Комментарии" опубликовал мою статью "Заметки об американской невинности". Суть ее сводилась к тому, что большинство творцов иностранной политики Соединенных Штатов и других гражданских обществ находятся в своей области на умственном уровне детей до пяти лет. Многие из них не способны даже испытывать в этой области чувство страха — в ответ на опасность они лишь улыбаются, как младенцы или Генри Киссинджер. Самые взрослые из них — и в качестве таковых я взял в виде примера Уинстона Черчилля и Голду Меир — способны, как дети, достигшие пятилетнего возраста, испытывать страх, но их, бедняжек, так легко обмануть. В ответ, Голда Меир потребовала у меня через суд три миллиона долларов "за причинение ущерба профессиональной репутации", поспешно забрав, однако, дело после того, как я запросил у нее ряд документов.

Другим предметом негодования явилось мое утверждение, что Соединенные Штаты и остальные гражданские общества, от Канады до Израйля, представляют собой как бы одну большую мировую Францию 1933–1939 гг. с той лишь разницей, что освобождать их после поражения будет некому. Их гибель неминуема, если не создать новой науки и искусства их спасения подобно тому, как была создана современная медицина.

В английском варианте статья была напечатана в старейшем американском литературно-интеллектуальном журнале "Ейль литерари магэзин" /№ 1, 1979 г./, Йельский университет, США.

Около года назад "Комментарии" опубликовал мою статью "Что знает западная разведка о России" ("Время и мы" №37). Смысл статьи в том, что разведки Соединенных Штатов — практически не существует. Существует лишь сборище обывателей-чиновников, которые морочат голову налогоплательщикам. После перепечатки или пересказа статьи в более чем 500-ах периодических изданиях мира я был приглашен в Вашингтон на "дискуссионный обед" с адмиралом Тэрнером, руководителем ЦРУ, а фактически — всей разведки США. Поскольку адмирал сказал, что статью он читал, я лишь кратко изложил ее содержание для присутствующих на обеде 42-х представителей правительства, Конгресса и англо-американской печати. Когда я процитировал то место статьи, где говорится, что если бы ЦРУ состояло только из советских агентов, то последние не осмелились бы так грубо вводить Конгресс в заблуждение, как это делало ЦРУ, адмирал отшатнулся, как от удара. Я подумал: честный человек. Когда я кончил, наступило что называется гробовое молчание. Один из присутствующих журналистов наконец, спросил: "Адмирал, вы можете сказать что-нибудь в ответ?" Тэрнер сказал: "Нет".

Но, конечно, я выбрал разведку лишь как пример бездарности бюрократий, от которых ждут защиты, спасения гражданских обществ. Вопрос тут шире. Он заключается в том, что в силу по крайней мере пяти веков научно-технического — и, следовательно, военного — превосходства Западной Европы и ее заморских земель, в гражданских обществах выработалась склонность считать, что ум, опыт, гений необходимы, скажем, в медицине, оперном пении или математике, в то время как иностранная политика, оборона или стратегия — это дело, в лучшем случае, посредственности, если не глупости, шарлатанства или добровольной сдачи на милость победителя.

Вот о чем идет речь в предлагаемой статье. Но сначала я останавливаюсь на том, нужно ли вообще спасать "Запад", то есть гражданское общество, и на том, что это отнюдь не так легко и просто, как это многим кажется.

Одновременно с написанием статьи я основал при участии многих умных и талантливых людей разных стран. Центр по спасению гражданских обществ, нечто вроде интернационала ума и таланта всех народов.

"А СТОИТ ЛИ СПАСАТЬ ЗАПАД?" - СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ ЗАПАДА

Вплоть до середины прошлого столетия величайшие мыслители и ученые мира не знали, что кипячение простой воды убивает болезнетворные бактерии, и до одной трети населения гибло от эпидемий, а спасение остальных происходило по воле рока — вне всяких сознательных человеческих усилий. Многие жители, которые нынче живут и здравствуют благодаря открытиям микробиологии, понятия о ней не имеют. Они используют микробиологию, но это не значит, что они ее хотя бы ценят.

Многие жители Дании, Соединенных Штатов или Японии, включая государственных деятелей, писателей и ученых, используют гражданское общество, но это не значит, что они его хотя бы ценят.

"В конце концов, люди живут и в Советском Союзе", — размышляет Джордж Кеннан, ведущий американский специалист в области иностранной политики, бывший посол в Москве, "создатель западной обороны". "Возможность советского контроля", как Кеннан деликатно называет то, что до 1962 года именовалось "советским завоеванием мира", представляется ему "незначительной катастрофой" по сравнению, например, с "загрязнением окружающей среды".

Я вижу очень мало проку в организации нашей обороны для того, чтобы оборонять против русских порнографические заведения в центре Вашингтона. Уж если на то пошло, русские справляются с порнографией гораздо лучше, чем мы.*

Когда я стараюсь объяснить англоязычным слушателям или читателям, что значит отсутствие в стране гражданского общества, мне не хватает в английском языке двух русских

* "Энкаунтер", сентябрь, 1976 г., стр. 35, 36. Я извиняюсь перед русскоязычными читателями за язык Кеннана и других подобных западных знатоков России, которые до сих пор не научились хотя бы словесно отличать "русских" (т.е. евреев, немцев Поволжья, русских, эскимосов и других жителей России более чем ста наций) от владельцев России. Я уже не говорю об употреблении этими экспертами терминологии советской пропаганды.

слов, то есть образов-понятий. Одно из них — слово "насилие" — переводится на английский язык либо как "буйство", либо как "принуждение". Русское слово "насилие" также связано со словом "насилование", и я вспоминаю, что агенты начальника тайной полиции Берия ловили на улицах привлекательных школьниц. И этот подтекст слова "насилие" исчезает в английском языке.

Другое русское слово — "власть" — связано со словом "владение", в то время как "соответствующее слово" в английском языке означает буквально лишь "мощность", "мощь".

Многие любят владеть людьми. Не столь многие любят, чтобы ими владели: в Соединенных Штатах такие легко находят свое счастье, вступая в секту или общину, отец-учитель-вождь которой владеет ими. Но вот обратный случай невозможен: что было делать жителю Германии, России, Уганды, если он, наоборот, не желал, чтобы им владел отец-учитель-вождь? Кто мог спасти девочек-школьниц от начальника тайной полиции в России в течение четверти века? Кто ныне защитит население России от попытки ее властителей завоевать мир ценой гибели, скажем, трети рядового населения?

За редкими исключениями известная нам человеческая история — это океан владения человека человеком с помощью насилия. Это владение осуществлялось в течение тысячелетий мириадами сверхбанд, то есть банд, превышающих "обычные" ("уголовные") банды в тысячи и миллионы раз и потому часто называемых из страха и лести государями, господами, государством, правительством, отцами, учителями, вождями. Все это было азбучной истиной уже добрых 2400 лет назад, когда рядовой здравомыслящий афинянин говорил Платону:

Если тебя поймут во время совершения небольшого преступления, тебя накажут и опозорят, а твоё преступление назовут глумлением над всем самым святым, человекокрадством, грабежом, воровством и разбоем. Но если ты не только отнимешь у своих сограждан их собственность, но и превратишь их в рабов, то ты больше не услышишь таких некрасивых названий. Наоборот, твои бывшие сограждане благословят твоё имя...*

* Платон, "Республика", стр. 26 по оксфордскому изданию 1941 г.

Единственная известная нам защита против организованного сверхпреступления или сверхпреступности — гражданское общество. Гражданское общество не разрешает такие проблемы, как порнография, смерть, загрязнение среды, скука или неравенство доходов и имуществ. Тем не менее, оно является более важным достижением человечества, чем все остальные вместе взятые, ибо без гражданского общества все эти достижения становятся лишь средствами для достижения единой всепоглощающей цели: владения человека человеком. Развитие гражданского общества в послеантичную эпоху — суд присяжных, Великая хартия вольностей, хабеас корпус акт, парламент — связывается обычно с Англией, но гражданское общество — не более чисто английское и западное явление, чем алгебра — явление чисто арабское или восточное.

Хотя г-н Кеннан не отмечает никаких неприятных сторон "советского контроля" (или, скажем, "китайско-коммунистического контроля"), все же он наверняка вспомнит самое всемирно-скандальное событие, случившееся в России за последние два десятилетия: писатель по имени Солженицын, прославленный Хрущевым, был запрещен при Брежневе и "выслан из пределов страны". Какое вопиющее нарушение прав человека!

В действительности, владыки-владельцы Солженицына могли убить его (и еще, скажем, треть населения страны для круглого счета) более безнаказанно, чем американец свою собаку. Собаку? Нет, более безнаказанно, чем американец может убить комара. Комара? Да нет, ведь убийство комара — это целое событие, усилие, напряжение. Своей же рукой убиваешь.

Но допустим даже, что убийство Солженицына было для них, как убийство комара. Отчего ж не прихлопнули они комара? Да оттого, что их левая нога не пожелала. А почему ж левая-то их нога не пожелала? А потому, что советская ядерная мощь уже превосходит американскую, советские же ядерные ракеты, нацеленные на Европу или Израиль, даже не упоминаются в липовых "договорах о сокращении стратегического оружия", а о превосходстве советских глобальных

воздушно- и водно-десантных бронетанковых сил давно уже не принято и говорить в просвещенных столицах гражданских обществ.

Хороший охотник-медвежатник не бежит за комаром, чтобы прихлопнуть его, когда медведь у него на прицеле. Может быть, прихлопывание комара и доставило бы владыкам-владельцам России мгновенное удовлетворение. Но это могло вспугнуть медведя — мир — на прицеле. Ведь за десять-то лет Солженицын стал — сначала благодаря благоволению "вождя Советского Союза", а затем запугиванию и дониманию на глазах западных журналистов — сверхзвездой западного телеэкрана и прессы. А убийство одной такой сверхзвезды — пока и поскольку она сверхзвезда — может вызвать в западном телевидении и прессе больше шума, чем невидимое исчезновение в стране одной трети рядового населения, неизвестных, безымянных, безликих людей-комаров.

Но если "советский контроль" или "китайский контроль" будет установлен повсеместно, владыкам-властителям не придется бояться "шума в западной прессе" по поводу убийства комара. Все "рядовые люди" отныне и навсегда обретут комариные размеры под исполинской сенью человекообразных Богов-чудовищ, воюющих между собой и делящих мир-добычу.

Когда пишутся эти строки, на моем столе лежит номер "Нью-Йорк Таймс" от 20 августа, и на странице 11А этой толстенной газеты наверху в уголке крошечная заметка — всего одиннадцать строк, и в заметке так, между прочим, сказано, что, как заявили новые владельцы Камбоджи, их предшественник истребил более трети населения. Стало известно задним числом. В виде небольшого происшествия — вроде как, например, страус в зоопарке проглотил замок.

Ну, а если Соединенные Штаты попадут под такой "контроль"? Как же тут уцелеть расово-классово чуждым побежденным американцам? Если более трети населения Камбоджи свои же камбоджийцы сумели так быстро и даже тихо истребить обыкновенными пулями, штыками и прикладами, то при химии, биологии, радиации в руках организованных сверхпре-

ступников что же останется от побежденных сограждан г-на Кеннана?

У человека, не пережившего чуму, может и не хватить воображения для того, чтобы ее себе представить. Я хочу немного расширить представление г-на Кеннана и многих других его сограждан о том, что, в конце концов, люди живут и без гражданского общества (и, следовательно, без порнографии), и весь ужас отсутствия гражданской защиты человека от власти человека состоит лишь в том, что некоего писателя могут сначала прославить, а затем запретить и даже выслать в гражданское общество, где он станет жить-поживать и добра наживать.

"А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО?" - СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ РОССИИ

Двадцатилетний инакомыслящий, киномеханик по роду занятий, однажды у меня на даче под Москвой пожелал узнать, кто мои соседи. Когда я называл ему фамилию вроде Славянова, он хмуро заключал: "Советский хам!" Когда же я называл фамилию вроде Гельфанда, он торжественно всхлипывал: "Евр-р-р-е-е-й", словно в самом слове заключался состав преступления. Но больше всего его возмутил математик с мировым именем: "У паразита — такая дача!" Сам он кончил с трудом шесть классов, и ему представлялось, что в математике не может быть создано ничего такого, чего бы он не знал, а если и создано, то созданное представляет собой ложное суемудрие, существующее для получения дач за счет честных киномехаников и меркнувшее, как лампада, пред бессмертным солнцем его ума. У меня, однако, было сильное средство, чтобы переубедить его: его знание математики лишь в объеме неполной средней школы. Он понимал, что в этой области существуют задачи, и не все можно решить вне предыдущего опыта человечества, на основе чистого наития даже такого невиданного в истории человечества ума, каким он, по его мнению, обладал.

Однако в другой области, а именно в области общественного устройства, у меня не было такого средства переубеждения, как в математике. Ведь математика в советской школе — это настоящая математика. А какое же в советской школе обществоведение? Он был в этой области неграмотен. Поэтому он начертил свое общественное устройство, свободное, по его мнению, от недостатков обществ, ныне существующих, и его нельзя было убедить в его неумении в этой области считать, так сказать, на пальцах одной руки.

Я не буду описывать его общественное устройство. В каждой стране тысячи или миллионы обществоведчески неграмотных придумывают свои безграмотные утопии или повторяют таковые, выдуманные их главарями, учителями, единоверцами, соплеменниками.

Бурному размножению безграмотных утопий способствует групповое самообожание, которому посвящена отдельная глава этого эссе. В течение нескольких десятилетий, вплоть до 30-х годов этого века, обожающей себя группой был "класс". "Буржуазия создала свое буржуазное общественное устройство. Значит, мы, рабочие, должны создать наше, пролетарское".

С 30-х годов началось движение обратно к "нации". "Англичане создали свое, англосаксонское общественное устройство. Значит, мы (русские, мусульмане, китайцы, африканцы, латиноамериканцы) должны создать наше (русское, мусульманское, китайское, африканское, латиноамериканское). Только подумайте: мы, русские, создали Толстого (и Достоевского), а до сих пор якобы не смогли создать общественного устройства получше, чем какие-то там бездушные лавочки-англичане, не говоря уже о просто американских хамах".

Любопытно, что в 20-ом веке мало кто притязает на создание пролетарской или же русской (угандской, немецкой, еврейской) алгебры, взамен алгебры арабской. Школьное образование не позволяет. Да и классовая или национальная алгебра приведет к тому, что оружие не будет стрелять в противника, а это, согласитесь, никуда не годится.

От безграмотных же утопий неграмотные утописты не предвидят для себя никакого вреда. Безграмотная утопия либо остается чистой мечтой, либо "осуществляется", но так, что безграмотный утопист или его последователь сам оказывается в составе высшей касты совладельцев страны, и поэтому ему обычно представляется, что совершенное общество наконец, успешно создается. Например, когда пишутся эти строки, Хомейни считает, что наконец-то создается в Иране общество Корана, религиозно-нравственное общество, воплощающее святость человеческой жизни, уважение к старости и мудрости старших и другие священные заветы Магомета. Но вот лишь одна пылинка, мелькнувшая несколько дней назад и затем исчезнувшая в пространствах истории. На третьем месяце якобы осуществления этого Божественного, святого и священного общества расстрелян Магомет (не правда ли, знаменательное имя?) Али Алламех Вахиди, святой старец-богослов и член законодательного собрания*. За что? За расхождение в толковании Корана. Святой старец говорил — до февральского переворота, — что надо воздать Богу Богово, а кесарю кесарево. Ну, а Хомейни считает, что надо воздать ему и Богово и кесарево. Разве за такое незнание заранее того, что надо будет говорить при новом режиме, не следует расстрелять святого старца Магомета? Но ведь это все равно, как если бы Ленин расстрелял в январе 1918 г. большевика-ветерана за то, что тот, дескать, расходился с ним при старом режиме по вопросу о Циммервальдской левой. А только что же Хомейни до всего этого? Не его же расстреливают. Он расстреливает. Чего же ему волноваться? Все, значит, пока идет точно по Корану.

Иногда, конечно, бывают неожиданности. В России с 1918 по 1921 гг. Троцкий, или Бухарин, или родители Роя и Жореса Медведевых принадлежали к касте, которая расстреливала, и поэтому с их точки зрения, их безграмотная утопия осуществлялась в России в лучшем научно-философском виде. Но затем, наоборот, и х начали расстреливать, и, конечно, многие

*"Нью-Йорк Таймс", 12-ое апреля, 1979 г.

из них открыли перед смертью, что созданное ими общество их научно-философским взглядам никак не соответствует.

Утопии Платона или Маркса, Робеспьера или Хомейни, Солженицына или неведомого миру москвича-киномеханика одинаково безграмотны, ибо утописты одинаково не подозревают, что существует задача защиты человека от власти человека. Попадает ли при этом безграмотный утопист в жертвы насилия и прозревает, — это подробности личной жизни безграмотных утопистов, а не общественной истории.

Вывавшись по счастливой случайности из советского заочения, Александр Гинзбург дал интервью вездесущей Людмиле Торн*. Торн пыталась повести интервью к тому, что "демократия — это хорошая первооснова общества". Не тут-то было. "Но если не демократия, то к чему же стремиться"? — воскликнула Торн. "К внутренней свободе", — ответил Александр Гинзбург. — "Жить не по лжи". "Устранение внутреннего страха". "Вера в Христа".

Допустим, что герои-христиане придут к власти в России. Ведь пришли же к власти герои-большевики. Или герои-мусульмане в Иране. Единственная червоточинка тут заключается в следующем: героям кажется, что они пришли к власти потому, что никакие муки не могли их сломить и власть от страха или восторга отступила, а постороннему наблюдателю кажется, что они пришли к власти потому, что Николай II или шах Реза Пехлеви вводили западно-европейские свободы и уж, конечно, не были так беспощадны, как их далекие, безмятежно властвовавшие предшественники или их преемники ко всякому проявлению личной или общественной независимости.

Но неважно: допустим, герои-христиане у власти в России. И что же?

Утверждается, что число жертв якобы христианской Инквизиции или якобы христианского Абсолютизма было якобы сравнительно мало потому, что завоевание, владение, насилие сдерживались или ограничивались, скажем, страхом ада. За-

*"Фридом эт исью", сентябрь—октябрь 1979 г., стр. 19—21.

чем нужно гражданское общество, если страх ада, совесть, доброта и другие нравственно-религиозные добродетели могут предотвращать владение человека человеком с помощью насилия, а также и само насилие?

Допустим, вопреки наблюдению Достоевского, отметившего поразительное отсутствие религиозности среди "простого народа", что значительная часть населения России середины 19-го века все еще считала существование ада у Данте столь же реальным, как теперь она считает реальным существование планеты Марс. Но ведь официально признанное владение человека человеком существовало века. Если христиане и христианки верили в то, что будут гореть вечно в печи огненной за свои грехи, то почему даже граф Лев Толстой, этот тончайший и европейски образованный писатель, у которого Анна Каренина думает о Вронском по-английски, не снял грех со своей души и не освободил своих крестьян, христиан, хотя их освобождение одобрялось и приветствовалось царями задолго до 1861 года?

Не так легко узнать из общедоступных советских источников, что у Льва Толстого было множество незаконных детей от множества принадлежащих ему и его семье христианок. Но с другой стороны, как же все это представить себе иначе? Молодой Толстой — а он был далеко не красавец, по мнению даже членов собственной семьи — приметил красивую христианку. Куда же, как говорят, ей деться?

Где был страх ада, совесть, доброта и другие подобные добродетели у Толстого? Ведь, когда у него отобрали его христиан и христианок, ему было 43 года. Или отвращение к насилию должно появиться только, когда уже нет и сил творить насилие?

Но даже если страх ада отвращал значительную часть населения от насилия над ближним, то как же вернуть эту веру в ад и страх попасть в него? Географические, астрономические или биологические открытия могли и не смести веру Достоевского в Бога. Ибо у Достоевского мог быть религиозный или художественный экстаз. В его романе некий студент-безбожник убивает вредное, с его точки зрения, человеческое

существо во имя высшей цели, но затем у него — озарение. Ему является нравственная гармония мира — он постигает, что такое добро и зло, душа, убийство. Так Эйнштейну явилась пространственно-временная гармония мира /высказывание Эйнштейна о том, что Достоевский дал ему больше, чем Гаусс, вошло в советские монографии 60-х гг./ . Эйнштейн нравственного озарения идет в полицию, чтобы заявить о своем преступлении. Смертный грех ведет к аду, но поскольку ада в буквальном смысле нет, то экстаз восполняет гармонию мира каторгой.

К сожалению, в то время как пространственно-временное озарение можно передать другим лицам в виде внеличного знания, нравственное озарение вышеупомянутого студента-убийцы не передается. Чтобы самому заявить о своем преступлении, зная о предстоящей каторге, надо самому быть в экстазе, самому быть Эйнштейном нравственного озарения. Но много ли на свете таких Эйнштейнов? Сам Достоевский приводит в своих острожных воспоминаниях рассказ о том, как отец, послав сына на убийство и узнав, что убийца нашел у жертвы только луковицу, разумно заметил: "Как, говоришь, зря убил? А луковица?"

Можно, конечно, в тоталитарной стране заставить все население страны притворяться, что оно верит в физическое существование ада, вроде ада у Данте. Но это будет лицемерие в такой чудовищной степени, которого еще не знала история религиозного ханжества, и оно будет отвращать ханжей от насилия не более, чем вера владельцев "советской России" в наступившее равенство отвращала их от посылки икры вагонами своему брату — товарищу Ленину во время голода, дошедшего, в частности, до значительного распространения людоедства. В истории религии еще не было такого ханжества? Не надо зарекаться: в "осуществлении" новых безграмотных утопий, одетых в национально-религиозные словеса, то ли еще может быть! Ведь и в России 1918 г. рассуждали о новых владельцах в таком духе: "Что там ни говорите, а это не попы, изуверы, мракобесы, — по крайней мере, это все ученые, инженеры, юристы самого передового европейского толка,

скромные, рассудительные, деловитые, а кроме того, бывшие политкаторжане, мученики, правдоискатели, просветители, гуманисты, защитники детей, бедных, сирых, убогих, трудящихся, страждущих и обремененных и все больше, знаете, евреи, латыши, немцы, поляки, не то, что наши русские фомы опискины да иудушки головлевы".

В течение веков, вплоть до 1861 г., власть-владение в России использовала религию. И когда новые владыки-владельцы заговорили о разуме, науке, технике, прогрессе, социал-демократии, электрификации, экономике, справедливости, культуре, образовании, то многим казалось все это новым, освежающим, освободительным, совершенно несовместимым с владычеством-владением. Теперь происходит обратное. В течение более 60 лет владыки-владельцы России твердят одно и то же изо дня в день, и многим кажется, что стоит власти-владению заговорить вместо этого о бездонной русской душе /непреренно с церковными славянизмами и народными речениями из словаря Даля/, о национально-религиозном обновлении и прочем, — и власть-владение перестанет, благодаря этой новой словесности, быть властью-владением, а начнется некая новая прекрасная жизнь.

Сказанное ни в коей мере не умаляет значения убеждений, верований, культур.

Увы, верование или убеждения, личное или групповое — это часто лишь словесное, а не действенное поведение. В словесном поведении и Ленин и Сталин были до весьма зрелого возраста безупречными христианами. Например, Ленин изумил экзаменаторов на аттестат зрелости своим знанием Ветхого и Нового Завета. Он и себе казался безупречным христианином и мог доказать свою безупречность на основе своего безупречного знания данных текстов. Точно так же, как позднее, он казался себе безупречным марксистом.

Любой словесный текст можно использовать для славословия любого действенного поведения. Те, кто убивают невинных и невиновных, попадут в ад, где будут гореть вечно в печи огненной? Да, но не убий — кого? Любого, кроме еретика. А еретика можно и нужно сжечь живьем на этой земле:

даже текст Святейшая Инквизиция нашла в Новом Завете на этот счет о бесплодной смоковнице, бросаемой в огонь. Те, кто владеют людьми, владеют и текстами. Их тексты, их и толкование. Бог, природа, родина, народ, человечество, история, совесть громогласно вещают их устами, а речи их "человекособственности" и за десять шагов не слышны.

Много людей в 20-м столетии сменили словесный текст, снова родились в своем словесном поведении, были на словах савлами, стали на словах Павлами /а затем снова савлами или павло-савлами/

В Нью-Йорке недавно была весьма торжественно переведена на английский и опубликована статья Сима Маркиша, сына погибшего в ходе сталинского погрома известного советского поэта — я помню его по временам, когда в доме творчества после войны он занимал еще отдельный дом, а не комнатенку, как простой смертный писатель. Проживая ныне в Западной Европе, Сима Маркиш в своей статье пропесочивает приехавших в Израиль эмигрантов из России и в частности, журнал "Время и мы", за недостаточное "еврейство" (или "еврейскость"?). Статья называется "Прохожие люди". То есть указанные эмигранты чувствуют себя в Израиле "прохожими". Поскольку название взято из известной строки Мандельштама, где он говорит о себе: "прохожий человек", то и этот один из величайших поэтов всех времен и народов как бы заодно пропесочивается по той же линии (возможно, за недостаточную смычку с Гистадрутом!) Где же мы читали раньше эту статью? Ну, конечно: забвение ленинского принципа партийности и советского патриотизма некоторыми товарищами-интеллигентами! Как часто похожи даже сами смененные тексты, несмотря на замену некоторых слов. Но даже если и тексты неузнаваемо меняются, меняется ли действенное поведение савлов-павлов — их душа, характер, ум?

В качестве примера целесообразно взять опять же Солженицына (а, скажем, не Симу Маркиша), ибо о каком жителе России 20-го века, кроме Ленина, есть больше биографических данных на Западе, чем о Солженицыне?

До того как Солженицын попал в концлагерь, его текст был ленинизм, или, как тогда говорили, истинный ленинизм. А что, если бы он не попал в концлагерь? И остался бы навсегда в социальной среде ленинцев, которые еще в 1918 г. расстреливали свыше тысячи человек в месяц во имя ленинизма и Ленина? Но допустим, советский концлагерь был ниспослан Богом для того, чтобы Солженицын прозрел, переродился, превратился из чванливого, себялюбивого, всезнающего советского офицера-ленинца-материалиста-атеиста в доброго, отзывчивого, смиренного православного-русского-христианина-праведника. Но вот лишь одна промелькнувшая "пылинка" в его действенном, а не словесном поведении. У Солженицына нет, конечно, власти в смысле владычества-владения: "вожди Советского Союза" отвергли его предложение совместно преобразовать их якобы марксистское владычество во владычество якобы православное. Но в пределах гражданского общества Соединенных Штатов у Солженицына много преимуществ перед, скажем, Валерием Чалидзе, который всегда был всего лишь крохотной звездочкой (отнодь не сверхзвездой) западных "массовых средств информации". Солженицын знал, что, если, допустим, он на весь мир очернит печатно Чалидзе, то у Чалидзе нет средств и хорошего-то юриста взять для подачи в суд за клевету, в то время как Солженицын может нанять хоть целую юридическую контору.

И вот Солженицын разгневался на Чалидзе. За то, что тот почтительно заступился за беднягу-эмигрантика, посмеявшего почтительно возражать Солженицыну. И Солженицын нанес Чалидзе самый безжалостный удар, который он только мог ему безнаказанно и безопасно нанести в границах гражданского общества. В своей книге, изданной большими тиражами, Солженицын огласил следующее открытие: создатель Комитета защиты прав человека Чалидзе "остановил и испортил достаточно начинаний Комитета". Почему же такое вредительство?

Самый последний наивец согласится, что для получения визы на выезд за границу читать лекции о правах человека в СССР —

не обойтись без разработанной уговоренности с ГБ, которая не достигается единократной встречей, — и это будучи членом Комитета!*

Вот оно что. Тут была "разработанная уговоренность с ГБ". Солженицын не замечает, что говорит о Чалидзе, как Сталин или правоверный рабфаковец говорил полвека назад о Троцком или о подсудимых по Шахтинскому делу. Между прочим, этот метод Шахтинского правосудия можно применить и к самому Солженицыну: "самый последний наивец согласится", что Солженицын не только встречался, как он это описывает, с посланцем "ГБ" (своей первой женой), но и желал достигнуть через нее "разработанной уговоренности" с самим Политбюро, в которое входит и сам глава "ГБ". Кроме того, если Чалидзе был, выражаясь рабфаковским языком времен юности Солженицына, вредитель и шпион, то ведь Солженицын был членом его Комитета. Но, конечно же, Солженицын был вовлечен в это вредительско-шпионское логово лишь в силу неопытности, доверчивости, честности. Хитер и коварен враг. Но хоть задним числом разоблачен.

А что если бы "вожди Советского Союза" согласились принять Солженицына в состав их власти-владения под знаком православного креста? Разумеется, ГУЛАГ назывался бы ГУСАДом, то есть Главным управлением нравственно-религиозных садов. Но доехал ли бы достигший "разработанной уговоренности с ГБ" Чалидзе даже до ГУСАД'а или же с ним бы поступили как с вредителем и шпионом?

К концу жизни не окончивший (не сдавший последний экзамен) православный священник Сталин решил вернуться — после всенародного погрома и высылки евреев, разумеется, — в лоно православия, превратив его в "государственную идеологию" (в смеси с остатками марксизма). Это явилось бы прекрасным орудием для завоевания мира, учитывая, что пришедший, наконец, согласно Новому Завету, Бог, и есть православный священник Сталин. Сталин понял, как можно обернуть христианство себе на пользу, и недаром Мариетта

*Александр Солженицын, "Бодался теленок с дубом", Имка-Пресс, 1975., стр. 400.

Шагинян уже кликушествовала в "Правде" о нашем, новом, (советском?) христианстве Хьюлета Джонсона, настоятеля Кентерберийского собора. К счастью для многих, Сталин умер, ибо иначе Солженицын оставил бы свое безымянное брненное тело в мерзлом грунте христианнейшего из нравственно-религиозных садов.

НО НЕ ТАК-ТО ПРОСТО СПАСТИ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Вопрос, однако, заключается в том, что будучи редкостью в прошлом, гражданские общества в том виде, в каком они существуют, нежизнеспособны в эпоху так называемых тоталитарных режимов.

По самой сути тоталитарного общества его владельцы могут тайно направлять принадлежащие им человеческие жизни и природные богатства на цели завоевания друг друга и гражданских обществ. Причем сами владельцы тоталитарного общества не испытывают неприятных личных последствий этой всеобщей военизации или мобилизации: и х убежище защищает их от любого оружия, и даже во время самой изнурительной и тяжелейшей войны и х сеть снабжения снабжает их так, словно никакой войны и не было.

За немногими исключениями люди во всех странах всегда поглощены своей собственной жизнью. Дети резвятся: что с них взять? Молодым людям тоже некогда: молодость, как говорят, бывает только раз в жизни. Люди средних лет тем более заняты по горло: заработок, покупки, дети. У пожилых опять же все силы отнимает сопротивление старости, болезням, одиночеству.

Владельцы тоталитарного общества отбирают у своей "человекособственности" все, что им нужно для своих военно-стратегических целей. Но в гражданском обществе сами избиратели должны ради защиты своего общества по своей воле отказаться хотя бы частично от своей личной жизни и сами по своей воле думать о спасении своего общества — отвлеченной, далекой, внеличной цели.

Более того. В гражданском обществе сами избиратели принимают в конечном счете решения об обороне — и сами же несут последствия своих решений. "Житель Нью-Йорка: хочешь защищать Европу, Израиль, Аляску? Гони деньги из своего кармана на оборону. Иди на поле боя (если в партизанской, диверсионной или агентурной войне тоже есть поле боя) и возвращайся трупом или калеккой. Пошли на поле боя своего мужа, сына, жениха. Готовься к смерти в тылу, ибо в современной войне нет фронта и тыла".

Некоторые утверждают, что "погрязший в материальном эгоизме" Запад потерял волю, веру, способность к самопожертвованию во имя таких внеличных целей, как, например, оборона. Но опять же, лучший пример — Солженицын. Вот уж кто готов, если судить по его пламенным проповедям-обличениям, к самопожертвованию во имя обороны Запада от советского атеизма, материализма и марксизма-ленинизма. Но американский налогоплательщик может сказать пламенному проповеднику-обличителю следующее: "На 1976 год средний доход американской семьи составил 14 958 долларов. Почему же вы не оставили себе эту ежегодную сумму на 30 лет вашей жизни и жизни вашей семьи (считая, что за следующие 30 лет больше ничего вы не заработаете себе на жизнь), а остальное не отдали на оборону? Почему вы вместо этого, например, за этот год затратили на улучшение купленного вами двадцатигектарного поместья еще 250 тысяч долларов, добавив к плавательному бассейну пять новых ванн, гаражи и теннисный корт?"*

Действенное (а не словесное) поведение Солженицына ничем в этом смысле не отличается от поведения многих американцев или европейцев, разве лишь уверенностью в своей незападной праведности, жертвенности и, следовательно, необходимости обличать погрязший в материальном эгоизме Запад.

Счастливы те гражданские общества, чьи тоталитарные противники объявляют им войну, как Гитлер Соединенным

*"Ньюзуик", 20-ое сентября, 1976 г., стр. 64—65.

Штатам, или открыто грозят уничтожением, как некогда Насер угрожал Израилю. Но дело в том, что тоталитарное общество обладает неограниченными возможностями не только для военно-стратегической деятельности /во времена, называемые гражданскими обществами мирными/, но и для сокрытия этой деятельности. Равно как и возможностями для завоевания стран "мирным путем" с помощью особых "мирных войск" или разжигания внутри гражданских обществ "борьбы за мир", играющей на страхе избирателей перед военными расходами, лишениями военного времени, увечьем и смертью на фронте или в тылу.

Каково же преимущество или превосходство гражданских обществ в этой борьбе за выживание? УМ!

Некоторым в Нью-Йорке или в Москве кажется, что поскольку ум нельзя определить и измерить, как измеряют, скажем, жирность молока, то ум — это нечто необъективное, ненаучное, произвольное. Но тем бесспорным вневличным способом, каким определяется жирность молока, нельзя было и определить в 1905—1907 гг. научную глубину или ценность работ Эйнштейна в области физики. Однако, эта научная глубина или ценность существовала объективно.

Нью-йоркцев поражает (часто даже больше, чем москвичей) тот факт, что вне физики Эйнштейн иногда говорил банальности и даже глупости. Многим нью-йоркцам хотелось бы (эта психологическая склонность представляется в Нью-Йорке, по крайней мере, такой же сильной, как в Москве), чтобы определенный умственный уровень был бы однозначно присущ каждому лицу, как военное или гражданское звание. В этом случае не требовалась бы оценка ума в каждом отдельном случае. Все, что говорит или делает генерал (профессор, сверхзвезда телеэкрана) на много порядков умнее всего, что говорит или делает лейтенант (аспирант, звездочка телеэкрана). Если же данное лицо даже не лейтенант (не аспирант и не звездочка телеэкрана), то вообще не надо давать ему возможности говорить по телевидению и в печати.

К счастью, общественное устройство гражданского общества меньше соответствует этой военно-бюрократической

склонности, чем общество тоталитарное. В тоталитарном обществе верхушка пирамиды умственных достижений, называемая гениальностью, усекается даже в тех областях, которые владельцы общества развивали бы во что бы то ни стало, если бы они знали о военной пользе данных умственных достижений. Если бы. В сослагательном наклонении все дело.

Если бы Сталин знал, что публикации Эйнштейна 1905—1907 гг. и другие подобные умственные достижения имеют хоть малейшее отношение к атомной бомбе, реальность которой стала очевидной к 1939 году, у Сталина были бы атомные бомбы, возможно, на "х" лет раньше, чем у Соединенных Штатов (в действительности произошло наоборот). А это означало бы — при достаточном большом "х" — власть Сталина над миром.

Власть над миром. Для этого Сталину надо было лишь обласкать тоталитарным вниманием Эйнштейна, Бора, Ферми (и с десяток им подобных других) как можно раньше.

Легко представить себе разговор Сталина с Эйнштейном, если бы Сталин знал. Вероятно, Эйнштейн заключил бы из разговора, что Сталин — "душка" (как некоторые западные эксперты по России называют очаровавших их "русских"), и к тому же душка, глубоко преданная науке, евреям и Эйнштейну лично. Не нуждается ли Альберт Германович в чем-либо для работы, комфорта, счастья? Ведь он не на Западе, где многое в жизни ученого зависит от разных бюрократов от науки. Там ведь ученый, как в средневековье. Гильдии, звания, иерархии. У нас же стоит ему слово сказать, и все будет исполнено. Как в сказке "Алладин и волшебная лампа". Пусть обращается прямо к Сталину. Ведь он, Сталин, понимает, что Альберт Германович — новый Ньютон. Все академии мира для него, а не он для академий.

Но как же Сталин мог определить в 1905-1907 гг. ценность публикаций Эйнштейна для производства оружия? Ведь Эйнштейн еще в университете считался чуть ли не тупицей, а по окончании, как читаем мы в Британской энциклопедии, "не получил работы в области физики или математики в научно-исследовательском и университетском мире и

вынужден был наконец, устроиться в патентном бюро в Берне, где его главная обязанность заключалась в предварительной проверке заявлений на патент".

Тем не менее, ему удалось опубликовать свои статьи 1905—1907 гг., хотя к предварительной проверке заявлений на патенты они имеют не больше отношения, чем к предварительной проверке заявлений на потребление воды Женевского озера. В Москве сам факт опубликования — это факт государственный. Примерно, как печатание денег в США, хотя издание самиздата в России типографским способом — более редкое явление, чем печатание "неправительственных", фальшивых денег в США. В Нью-Йорке же факт опубликования — сугубо частный: заходи в "Быстрый печатник" на углу, и тебе наберут и напечатают, что угодно, более безотказно, чем в московском ларьке отпустят плохого пива.

Поэтому карьера Эйнштейна не шла бы в тоталитарном обществе так, как она шла в Европе в 1905—1907 гг. Прежде всего, для того, чтобы опубликовать некие писания некоего неизвестного служащего патентного бюро (писания, не имеющие к этому бюро никакого отношения), надо убедиться в том, будет ли от них какая-нибудь польза и прежде всего военная, Государству хотя бы через 34 года. А как же иначе? Кто же позволит тратить Государственную бумагу и Государственный труд на Государственное опубликование неких писаний, хотя их автор (какой-то служащий какого-то там бюро), возможно, психически больной или шарлатан?

С другой стороны, если Государство сможет извлечь пользу из деятельности этого служащего хотя бы через 34 года, то необходимо создать для него штатную единицу в ГНИИ-ИНВИПОС — (Государственном научно-исследовательском институте изучения несуществования времени и пространства в общепринятом смысле), — созданном для этой цели, и тогда он получит одновременно Государственную прописку в Москве (если он не московский), Государственную квартиру и Государственное право публиковаться через Государст-

венную редакцию в Государственной типографии, если, конечно, ГНИИИНВИПОС — не закрытый институт.

Можно легко себе представить нижеследующий разговор в 1905-1907 гг. между Эйнштейном и бюрократом тоталитарного режима или гражданского общества (где многие бюрократии часто бюрократичнее любой советской бюрократии):

Эйнштейн: Я повторяю, что мои исследования — самые значительные в физике со времен Ньютона. Просто никто не может оценить их в настоящее время. Это — новая физика, если хотите.

Бюрократ (думая в продолжение всего диалога о необычайной тонкой и сложной интриге на соседней кафедре, и впервые очнувшись, услышав выражение "новая физика"): Какая новая физика? Значит, мы все — старая физика? Да послушайте, кто вы такой?

Э.: Я же вам сказал: я понял, что времени и пространства в общепринятом смысле этих слов — не существует.

Б. (поблуднев и отныне думая только о том, как бы отделаться от маньяка) : Я вас спрашиваю, в каком институте вы работаете?

Э. (сухо): Я не нашел работы по специальности. Я пока работаю в патентном бюро. Это не имеет никакого отношения к моим исследованиям несуществования времени и пространства в общепринятом смысле этих слов.

Б. (отделавшись, наконец, от Эйнштейна, к секретарше, тоже в большом возбуждении): Я заметил это сразу, как он вошел!

Секретарша (плаксиво): Вы прямо любого сумасшедшего готовы принять, честное слово. Я вам говорила: не принимайте его. Не знаю, что бы вы без меня делали. Все к вам так и лезут.

Этот разговор возможен в равной степени и в гражданском и в тоталитарном обществе. Но в гражданском обществе для ума легче найти возможности или лазейки для оглашения своих достижений, понимания и признания в бюрократии.

В то время как число психически больных ограничено природой, число процветающих бездельников, болтунов, шарлатанов и мошенников в гражданском обществе умопомрачительно. Но именно это свойство гражданского общества и позволило служащему патентного бюро опубликовать, не дожидаясь штатной единицы в ГНИИИНВИПОС'е и всего остального, статьи о том, что времени и пространства в том смысле, в каком они понимались до сих пор, — не существует.

Гражданское общество — неограниченный хаос роста бесчисленных побегов жизни: в нем каждый живет, как хочет, лишь бы не мешал другому жить, как тот хочет. Но только из этого неограниченного хаоса, из жизни каждого, как он хочет, и может появиться нечто единственное в своем роде: статьи Эйнштейна 1905—1907 гг.

С оглашением, признанием и пониманием умственных достижений в более общем смысле дело в тоталитарном обществе обстоит еще хуже. ГНИИИНВИПОС был в конце концов основан в России Сталина (скажем, под названием НИИЯФ АН СССР). Но можно ли создать ГИУШСЭС (Государственный институт ума в широком смысле этого слова)? А ведь ум в широком смысле этого слова тоже очень бы пригодился владельцам России. Человек умный, в этом смысле, сказал бы им в 1945—49 гг.: "Почему и зачем вы создаете в Китае увеличенную, как в параболическом зеркале, копию вашего режима? Потому что Мао — коммунист? Послушайте, Сталин, некоторые западные ученые и мыслители сравнивают вас с Аристотелем, Христом и чуть ли не Богом, сошедшим на землю. Но дело в том, что эти ученые и мыслители — пустомели, по крайней мере в данном вопросе. Помните, кто вы такой на самом деле: в настоящем вы сверхбандит, а в прошлом — плохой журналист. Как и у многих в России или вне ее, у вас чугунные мозги, и вам поэтому кажется, что если вас самого или другого назвать коммунистом, христианином, магометанином, то от этого нечто переменится в названных таким образом, а если вы рвали ногти у Бухарина, то это просто потому, что он — и следовательно, его ногти —

перестали быть коммунистическими или истинно коммунистическими. Теперь позвольте мне вам рассказать, что такое будет этот Китай, — втрое большее, чем вы, чудовище, рожденное по вашему образу и подобию..."

Да, создать ГИУШСЭС в тоталитарном обществе еще труднее, чем создать ГНИИИНВИПОС в 1905-1907 гг.

Эта статья — о выдающемся уме в гражданском обществе в противоположность глупости или посредственности. Нигде в ней я не говорю и не подразумеваю, что выдающийся ум, гений или талант — это нечто более ценное в жизни вообще, чем посредственность или даже глупость. Если бы и можно было свести жизнь к перечню человеческих достоинств, то более ценным в жизни, чем любой гений, бывают красота, любовь, доброта, благородство, великодушие, веселость, дружба, сострадание, честность, трудолюбие, стойкость, остроумие, такт. В этой статье ум в гражданском обществе разбирается лишь как преимущество или превосходство этого общества в борьбе за выживание наиболее приспособленных обществ.

В общественно-историческом развитии гражданские общества по самой своей природе "физически слабее", чем тоталитарные общества, подобно тому, как человек стал некогда физически слабее волка или гориллы, и может он выжить только лишь благодаря превосходству ума при своей защите.

Но первый камень преткновения заключается в том, что, как и всем общественным группам, гражданским обществам свойственно групповое самообожание, внушающее, скажем, многим американцам самоубийственную мысль, что каждый американец (то есть, русский, еврей, поляк или немец, привезенный в детстве своими родителями в Америку) априорно умнее любого русского, еврея, поляка или немца, и посему является заведомо или априорно лучшим переводчиком на польский язык, непревзойденным знатоком ума Адольфа Гитлера или наилучшим советником президента по вопросам безопасности Соединенных Штатов и, следовательно, всех гражданских обществ. О групповом самообожании и пойдет речь в следующей главе.

(Окончание в следующем номере).

распространенный предрассудок, заключающийся в том, что, если мы видим — кто-нибудь занимает первое место, то думаем — он же и правит делами.

Мне даже показалось, что, предваряя интервью Брежнева, эксперт решил просто пошутить. Но все ли поймут такие шутки? Может быть, автор побоялся обидеть Брежнева? Однако мы знаем, что американская печать не подвластна советской цензуре. Или правила гостеприимства удержали главу московского бюро от истины? Но мы думаем, что эксперт не хуже нас понимает, что Платон — простите! Брежнев ему друг — но истина дороже. Зачем же эксперту понадобилась подобная мистификация? Зачем читателю преподносить басни? Зачем на осла набрасывать шкуру льва? Мы отлично помним, как обложка одного из номеров того же "Тайма" была украшена фигурой укрощаемого Картером льва. Однако редакция не постеснялась: голова, венчавшая зверя, была головой Брежнева.

Отметив физические слабости Брежнева — приезд на работу позже 10 часов, участившееся желание вздремнуть, потускневший былой блеск — автор заявляет:

"Верно, что он правит при поддержке своих союзников из Политбюро и в согласии с премьером Косыгиным и партийным идеологом Сусловым, но он все еще хозяин. Если и были какие-нибудь сомнения на этот счет, они рассеялись месяц тому назад, когда Брежнев ввел в верхний эшелон руководства двух своих ближайших друзей, Черненко — в качестве полноправного члена Политбюро и Тихонова — в качестве кандидата".

Я полагаю, что близкое общение с Брежневым пошло не на пользу эксперту. Внешнюю оболочку событий он принял за их истинное содержание. Утверждать, что Брежнев — хозяин, означает лишь утверждать то, что мы видим глазами, не более. Подобное мнение равносильно мнению о луне обывателя XIX века. Известно, что на вопрос о том, что важнее — луна или солнце — Козьма Прутков отвечал: луна, ибо она светит ночью, когда темно, солнце же светит, когда и так светло.

И. НОЛЯИН

БРЕЖНЕВ: ПРАВИТЕЛЬ ИЛИ МАРИОНЕТКА?

В ведущем американском политическом еженедельнике "Тайм" опубликовано интервью Леонида Брежнева с пятью сотрудниками этого журнала. В предисловии к интервью Брюс Нелан, глава Московского бюро "Тайма" и "эксперт по советским делам" /так рекомендует его издатель/, кратко излагает характеристику Брежнева, его роль в партии и его отношение к другим членам Политбюро. Что же, мы давно покинули СССР, а г. Нелан беседовал с Брежневым недавно. Отличная okazия освежить нашу память. Мы приготовились слушать. Однако то, что мы услышали, превзошло наши ожидания и показалось нам несколько странным. Брежнев, оказывается, "все еще хозяин" в Политбюро. Он "по-настоящему популярен среди громадной партийной бюрократии", "центрист по партийной терминологии", "честный в отношении к партии", "лояльный к своим политическим друзьям".

Автор не излагает как будто ничего нового. Он добросовестно повторяет зады советской пропаганды. А в отношении того, что Брежнев хозяин, автор просто подтверждает широко

То, что Брежнев имеет поддержку своих союзников в Политбюро — это бесспорно, это — трюизм. Кого же еще поддерживать, как не своих союзников? Правители всегда крепко держатся друг друга до поры, до времени.

Определенное согласие и сплоченность руководящего ядра существует и при демократическом правительстве. Однако отсутствие демократии, отсутствие гласности спланирует руководящее ядро гораздо больше, гораздо грубее и крепче, спланирует круговой порукой. Но мы впали бы в непростительную ошибку, если бы решили на этом основании, что лицо, выбранное быть на виду, выбранное на первое представительное место, занимает первое место фактически, в действительном руководстве делами. Чтобы понять внутренние связи в теперешнем советском руководстве вообще и роль Брежнева в частности, интервьюировать Брежнева не обязательно, но следует принять во внимание некоторые исторические и психологические данные.

Никто не сомневается, что Сталин был единоличным правителем. Здесь не место анализировать, почему так случилось, но он правил единолично. И хотя он правил один, у него было, как поведала нам история, два лица. Одно лицо — смотрело на нас с фотографий, с мавзолея, произносило убедительные речи, вводило в заблуждение союзников, покоряло простотой костюма, скромными манерами и вкусами. Другое — творило кровавые преступления, предавало друзей. Превращало в ГУЛАГ весь Советский Союз. Можно выразиться иначе, это не изменит наших рассуждений. Можно сказать, что он имел не два лица, а что у него были две функции: функция внешняя, представительная, лицемерная, и функция внутренняя, истинная, существенная.

Не один Сталин так поступал. История деспотов — это история сплошного отвратительного лицемерия. Наполеон признавался в минуты откровения, что ему приходилось действовать временами то лисой, то львом. Поскольку случилось так (тому, конечно, были свои причины), что Сталин правил единолично, две указанные функции неизбежно совмещались в одной личности.

Ареопаг неосталинистов, который мы наблюдаем в настоящее время в качестве правителей СССР, состоит из ряда лиц. Но поскольку сущность власти осталась прежней, а число правителей увеличилось, с такой же неизбежностью две эти функции разделились между различными лицами. Это настолько естественно, что не вызывает возражений. Однако было бы наивностью не замечать этого политического сдвига и недооценивать его последствий для всего дальнейшего хода событий. Поскольку неосталинистам пришлось наследовать все ту же, недемократическую, традиционную структуру власти и поскольку не оказалось у них положительного баланса дел, как это было у Хрущева, постольку и им приходится лицемерить. (Не надо большого воображения, чтобы понять, что противопоставить себя традиции, как это сделал Хрущев, пусть непоследовательно, пусть не так, как нам бы хотелось, может только самобытная личность).

Но что же означает лицемерить вообще и перед собственным народом в первую очередь? В разрезе нашего вопроса это означает необходимость в дальнейшем существовании двух вышеуказанных сталинских функций: функции представительной и функции действительных, фактических дел. Функция представительная выпала одному лицу. И это лицо, по нашему мнению, — Брежнев. Разумеется, и Брежнев имеет свой голос в руководстве, и ему дают слово. Но голос этот довольно скромнен (в сравнении с другими), ввиду более чем скромных личных данных. Конечно, функция представительная досталась не только Брежневу. Целое агентство АПН было создано в целях дезинформации. А когда это не помогло, в ход пошли политинформаторы на заводах и в учреждениях и просто подленькие слухи, распускаемые Идеологическим отделом и КГБ.

Никто из теперешнего руководства не обладает яркой самобытной личностью, но Брежнев обладает этими качествами меньше других, превосходя в то же время других своей внешней импозантностью. Неудивительно, что Брежнев оказался настоящей находкой для функции представительства.

Точно такие же по существу функции можно найти в обыкновенной подпольной мафии. Центральная руководящая фигура мафии всегда находится в тени. На поверхности держатся лица помельче. Кто же станет отрицать, зная не столь давнюю историю — закрытые процессы, реабилитация Сталина, скрытая цензура, преследование невинных людей и т. д., что неосталинисты точно такая же уголовная мафия, но сложившаяся на почве политической? Перед нами, конечно же, политическая мафия во всеоружии власти. Времена, разумеется, иные, чем при Сталине, и личности помельче. Но это не меняет существа функции деспотии. Никто не может обходиться без функции представительства. Но тоталитаризм предъявляет к носителю этой функции свои неизбежные лицемерные требования. Он требует не правды, а правдоподобности, не искренних слов, а умения болтать, не внутренних достоинств, а внешней импозантности. Он требует благообразного покрова для прикрытия своих действительных дел. И этим прикрытием стал Брежнев. Наоборот, функция деловая, внутренняя, настоящая и не вполне приличная, чтобы быть на свету (она в СССР неизбежно связана с идеологией), досталась главе Идеологического отдела. Поэтому, рассуждая теоретически, можно предположить, что настоящим вожаком мафии является Суслов. И, действительно, те, кому приходилось сталкиваться с отправлением высшей власти в СССР, указывают на зловещую фигуру последнего.

Отчет нашего эксперта начинается словами: "Один из кремлевских обозревателей высокого ранга высказывается прямо и без обиняков: "Руководит Брежнев". Как вам нравится этот источник информации? А ведь эксперт полагается на него и затем повторяет эти слова. "Сомнительный источник и сомнительный эксперт", скажем мы. Один только факт, что так говорит "кремлевский обозреватель высшего ранга", должен был бы насторожить нашего эксперта. А следующий факт, что слова "обозревателя" полностью совпадают с потугами Политбюро выдвигать Брежнева везде и повсюду, должен был подсказать эксперту, что слова эти исходят не от обозревателя, а от Идеологической Комиссии ЦК.

Брежнев постарел, а ему дают новые посты. Брежнев плохо себя чувствует, а его посылают во все важные заграничные поездки. Брежнев дремлет частенько, плохо слышит, говорит неясно и тяжело (так свидетельствует эксперт), а его награждают новыми орденами и именуют гениальным. Разве не ясно, что все это — организованная спецкомпания по созданию "образа", которого давно не существует? Если бы он был действительно первым лицом, разве была бы нужда в таком подкрашивании? Сталина в свое время тоже возвеличивали, но это происходило на другом основании, он сам руководил этой кампанией. Его ближайшее окружение, как мы теперь знаем, дрожало от страха перед ним. Испытывает ли страх перед Брежневым кто-либо в теперешнем руководстве? Следовательно, весь шум по поводу его "великой" личности, вызван не его, якобы, заслугами, не его местом хозяина, а, наоборот, его подчиненным значением. Чем больше балаганного шума вокруг Брежнева, тем меньше внимание публики будет направлено на истинных вершителей позорных дел.

Можно ли руководить громадным бюрократическим аппаратом, находясь в состоянии старческого маразма? Нет, как будто. Когда Сталин действительно руководил, он вызывал к себе подчиненных ночью. А Брежнев приезжает на работу после 10-ти. Какое же это руководство? Нет, никакие эксперты и никакие "кремлевские обозреватели" не убедят нас в этом. Вот если ему предназначено не руководить, а представлять, т. е. быть шутком гороховым, отвлекающим внимание от истинных заплочных дел мастеров, тогда все становится на свое место, и даже его старческий маразм.

Рассмотрим другие аргументы нашего эксперта. В доказательство своего (и кремлевского обозревателя) мнения, что Брежнев хозяин, он приводит факт введения в состав Политбюро Черненко и Тихонова. Что же это означает? Что Брежнев хозяин? Попробуем разобраться в смысле этих передвижений.

Совсем недавно со сцены сошел Подгорный, а затем Кулаков. Подгорный был самым близким к Брежневу лицом.

Казалось бы, по схеме экспертов, уход Подгорного должен был ослабить позицию Брежнева. Однако, этого не случилось. И не могло случиться по той простой причине, что роль Брежнева — роль представительская. Его позиция не может ни усилиться, ни ослабиться от выхода или прихода в Политбюро тех или иных лиц. Зная, что из Политбюро по болезни не уходят, — мы видим подтверждение этому на примере Брежнева, Косыгина и др. — уход Подгорного означал, что он разошелся по текущему вопросу не с Брежневым, а с другими, фактическими вершителями дел. Возможно, Брежнев, как личный друг, уговаривал его изменить мнение и остаться, но решающий голос оставался за другими членами Политбюро, за реальными правителями. Если бы Брежнев был действительный, а не номинальный хозяин, Подгорного никто не посмел бы уволить.

Теперь — о Кулакове. Пышущий здоровьем Кулаков скоропечно скончался, не перенес никакой болезни. Хоронить его не поехали ни Брежнев, ни Суслов. Между тем, Кулаков был не только членом Политбюро, но незадолго перед этим занимал на торжественных заседаниях место рядом с Брежневым. С другой стороны, те члены верхушки советского руководства, которые ограничиваются простым словесным разногласием с большинством Политбюро, точнее, с руководящей мафией из трех-четырёх лиц, не умирают скоропостижно, а получают почетную отставку. Так, Пospelов стал в свое время послом в ГДР, Мухитдинов, который мягко высказывался против великорусского шовинизма, цитируя при этом Ленина, получил место посла в Сирии. Толстикова, будучи первым секретарем Ленинградского Обкома партии и возражавший против провокации КГБ и против процесса в связи с попыткой угона самолета в 1970 г., был с почетом отправлен в Китай. Это произошло буквально накануне суда. Причем в Ленинград приезжал сам Суслов.

Должность посла в Китае — немаловажная должность. И она была выбрана только для того, чтобы отставка не выглядела отставкой, чтобы не возбуждать любопытства к действительной причине. При этом, чтобы отвлечь внимание от

действительной причины, Идеологическая Комиссия через КГБ и политинформаторов распространяла слухи о том, что Толстикова хотел якобы на яхте уехать за границу.

О чем говорят эти факты? Не свидетельствует ли опала, обрушившаяся на Кулакова, о том, что он попытался прибегнуть к какому-то несловесному действию? Логика отношений ЦК с несогласными предлагает нам такой вывод в качестве наиболее вероятного. Редкие кадры кинохроники запечатлели, как Кулаков резко выделяется среди других в изъяснении лести Брежневу. Аплодируя, он изгибался перед ним в буквальном смысле слова. Неумеренная лесть очень хорошо гармонирует психологически с коварством. Очевидно, Кулакова подвело нетерпение. Видя, как Брежнев впадает в старческий маразм, но все не решается уходить, вернее, его "не уходят", он, возможно, решил форсировать события.

Итак, на каком основании зиждется наше заключение о том, что в попытке свергнуть Брежнева Кулаков попытался прибегнуть к силе? Во-первых, мягкое отношение Политбюро к словесным оппонентам из своей среды. Во-вторых, скоротечная смерть Кулакова без предварительной болезни. В-третьих, посмертный остракизм.

Место рядом с Брежневым при негласном верховодстве Суслова означало — и другого не могло означать — место мальчика на побегушках. Кого может удовлетворить такое положение? Тем более оно не удовлетворяло партбюрократу, уже испытавшего княжескую власть на периферии. Кто знает? Быть может, Кулаков обладал натурой, не вполне совместимой с его новой ролью. Одно дело воевать, хотя бы и в провинции, другое — холопствовать, хотя бы и при дворе. Его положение могло усугубляться и тем, что умом или талантами он превосходил Брежнева и Суслова вместе взятых.

Мне могут возразить. Три указанных факта недостаточны для полноты суждения. Согласен. Я и не претендую на полноту. Задача публициста, однако же, заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться полноты фактов. Когда время

предоставит все факты, за дело возьмется историк, а не публицист. (Да и время — предоставит ли все факты?). Дело же публициста — совсем в другом. Он обязан уже сейчас, не дожидаясь "лучших времен", произвести наиболее вероятную и, следовательно, наиболее верную выкладку на основании имеющихся у него данных, сколь бы скудны они ни были.

Как видит читатель, три вышеуказанных аргумента не являются просто логическим построением. Это — факты. Факты, вызванные к жизни ходом событий.

Теперь мы должны обратиться к еще одному событию такой же фактической пробы, которое служит аргументом №4. Оно хронологически следует за тремя и полностью с ними согласуется. Событие это — выдвижение Черненко. Если требуется еще одно свидетельство в пользу того, что Кулаков пытался прибегнуть к силе, то оно — в появлении на сцене бывшего начальника личной охраны Брежнева. В Черненко вряд ли нуждались до попытки Кулакова. В качестве усилителя власти Брежнева Черненко не нужен и теперь, поскольку Брежнев никогда не играл в Политбюро первую скрипку. Но Черненко очень потребовался — не в качестве политической силы, а в качестве силы физической — для ограждения Брежнева от какого-нибудь нового посягательства.

Сеть КГБ громадна и распространяется по всей стране, ввиду чего ее трудно контролировать и ее отдельные звенья легко могут выйти из-под существующего жесткого контроля. В то же время отдельное дополнительное и небольшое кольцо личной охраны членов Политбюро, непосредственно подчиняющееся одному из членов Политбюро, не имея силы для совершения переворота, вполне достаточно для личной охраны, независимо от КГБ, а в случае необходимости, и против КГБ. Именно все это после событий с Кулаковым и вызвало появление в Политбюро Черненко. Что касается Тихонова, то он — постаревший писатель, и его появление в кандидатах Политбюро связано, очевидно, с заслугами по части редактирования докладов для лиц, не способных произвести на свет ни единой мысли без шпаргалки.

Мы подошли к последнему вопросу, который ставит эксперт, но отвечает на него стандартными фразами советской пропаганды. В Москве "высказывались различные предположения относительно того, почему он (Брежнев) сам, по своей воле не уходит с почетом на покой или почему его не заместить более молодым и более здоровым лицом", — говорит эксперт и отвечает: "Причина в том, что Брежнев оказался по-настоящему популярен в среде громадной партийной бюрократии. Он — опытный политик, способный исполнитель и уважаемый руководитель мировой державы. Его считают честным в отношениях с партией, лояльным к политическим союзникам, ответственным и осторожным в политике и неохочим, сдержанным, когда дело доходит до чистки своих коллег. По партийной терминологии он — центрист и пользуется поддержкой всех частей правящей бюрократии. Брежнев обладает привлекательностью в глазах рядовых граждан. Старый режим в России давно ушел в прошлое, но русским по-прежнему нравится сильный импозантный руководитель".

Если автор изложил здесь собственное мнение, то следует признать, что он глубоко ошибается. Нарисованный портрет Брежнева ничего общего с истиной не имеет. Если же он честно передал слышанное, то он и тут хорошо поработал на советскую пропаганду. Такую явную ложь специально распространяет Идеологическая Комиссия ЦК КПСС. А посему мы с полным основанием повторяем: "Зачем читателю преподносить басни? Зачем на осла набрасывать шкуру льва"?

Нарисованный портрет "любимого вождя" легко опровергнется реальными фактами. Взглянем на этот портрет по порядку, предложенному экспертом. Популярность. Ничего похожего на популярность Брежнев не имеет. Если и существует популярность Брежнева среди громадной партийной бюрократии, она выражается — как и среди всего народа — в анекдотах. Выражается в том, что литература выразить не может. Анекдоты выражают презрение к Брежневу и смех над его личностью. Популярность шута горохового — вот фактическая его популярность.

Мы не знаем, в какой политике проявились "опытность", "честность" и "лояльность" Брежнева, но отлично знаем, что он больше других произносил здравицы в честь Хрущева (свидетельство — советские газеты прошлых лет), и он же его предал. Это ли честность и лояльность к политическим друзьям? Если бы он был честен к партии, он давно бы ее оставил. Если бы он был умен, он не дался бы в руки Сулову для роли номинального представителя. Брежнев — "центрист". А кем же можно быть еще, если не имеешь собственного мнения и если ты подхалим? Центристом будешь поневоле! Брежнев "обладает привлекательностью в глазах рядовых граждан", "русским по-прежнему нравится сильная личность". Что это такое, если не пародия на Брежнева и поклеп на рядовых граждан? Тот, кто хоть немного знаком с истинным настроением русских людей, знает, что русским давно перестали нравиться сильные личности. Какой привлекательностью может обладать человек, который частенько дремлет, туг на ухо, говорит — с трудом ворочая язык (так свидетельствует эксперт) и не говорит вовсе без бумажки? Если это привлекательность, согласитесь, это — привлекательность манекена, не больше. Такова цена портрета Брежнева, нарисованного экспертом.

Но какова же действительная причина того странного "астрономического" явления, что Брежнев все еще светит на небосклоне советской власти звездой первой величины? Почему он не уходит с почетом на покой? Почему жив еще "курилка" на должности номинального представителя?

Несмотря на грубую силу, используя которую правят нынешние неосталинисты, они чувствуют, по всей видимости, какую-то слабость. При Сталине жилось вольготнее и веселее, и "порядка" было больше. Ведь все они выросли на сталинских дрожжах, то есть на зашательстве, на доносах, на кровавых процессах. Хрущев, хотя и был их соратником, оказался храбрее их, решившись поднять руку на прежнего идола.

Чем дальше время уходит от периода Хрущева, тем становится яснее, что история руками Хрущева смешала карты неосталинистов. Прежде,

скончавшись, можно было найти почетное успокоение у кремлевской стены. Теперь этого нет. Хрущев прервал эту традицию. Вряд ли Хрущев был знаком с историей английской революции XVII века. Однако со Сталиным он поступил точно так же, как английская реставрация поступила с Кромвелем. Тело последнего было в свое время изъято из усыпальницы королей и повешено. Точно так же поступил и Хрущев, вытащив мертвого Сталина из мавзолея и захоронив его снова. Хрущев прервал традицию не только в отношении Сталина, но и в отношении самого себя: у кремлевской стены он не был похоронен. Разумеется, и без Хрущева история не остановилась бы. И без него ее законы проявили бы себя. Но он ускорил их проявление и, разоблачив Сталина, оказался на высоте исторической задачи. В этом именно смысле история руками Хрущева смешала карты неосталинистов.

Глядя на эту переоценку сталинских ценностей и бренокостей, нынешних сталинистов, очевидно, холодок пробирает по коже. Если случилось такое с их поводырем, с "вождем всех времен и народов", что же ожидает его ничтожных последователей? Мы не ручаемся, что они так думают, но убеждены, что они так чувствуют. Чтобы отогнать от себя это неприятное чувство, они изо всех сил цепляются за прежнюю традицию. Они выдвигают Брежнева, поддерживают его, приукрашивают, подновляют его старческую немощь, награждают орденами, ставят на новые посты. И все это только для того, чтобы возродить старую традицию, только для того, чтобы Брежнев скончался на посту, только для того, чтобы похоронить его с почетом. Они тешат себя мыслью — разумеется, напрасно тешат,— что времена Сталина можно возратить, что диктатуру можно продлить до бесконечности. Для этого следует возродить культ в лице хотя бы Брежнева. Если в Союзе осталась еще традиция вывешивать портреты вождей, то традиция торжественных похорон тиранов прервана. Отсюда и проистекает желание неосталинистов во что бы то ни стало протянуть на посту до конца.

Мысль о почетной смерти приходит в голову и обыкновенным людям. Но, как мы знаем из истории, она особенно

часто приходит в голову тиранам. Если мы не ошибаемся, перед нами основная психологическая причина того, почему больного Брежнева не отправляют на покой. Желание продлить иллюзию сталинизма и, по возможности, возродить дух культа — лежит в основе того, почему в Союзе процветают дряхлые руководители.

Думать, что в концерте неосталинистов Брежнев играет первую скрипку, — значит не понимать законов политической мафии. Он — прошу простить за не совсем изящные слова — кукла, манекен, попка. Я, конечно, немного утрирую, но только для того, чтобы подчеркнуть сущность явления.

Разумеется, внешне все происходит так, как будто руководит Брежнев. Коллеги уважают Брежнева в меру его таланта представлять, в меру его представительной фигуры. Его награждают, тешат его самолюбие, слушают его мнение. Но, как уже говорилось выше, функция фактического руководства выполняется не им. Не может дряхлеющий лев быть на первом месте. Об этом поведал еще Эзоп. А между тем, сколько зевак и экспертов, наподобие Козьмы Пруткова, полагаются на свидетельство глаз и громких титулов. Брежнев — маска на лице политической мафии. Она эксплуатирует его импозантную фигуру, его тщеславие, его, наконец, здоровье. И, возможно, он с радостью выполняет свою представительскую функцию. Однако я сомневаюсь, сознает ли он сам свою истинную роль. Может ли понять свое положение человек, если, оставшись без подготовленного текста и помощников, он становится ни на что не способен, кроме беспомощного бормотания?

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждение о ней. Русский "квасной" или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать.

Георгий Адамович



Н.ПРАТ

СЛАВЯНОФИЛЫ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИКИ

1

Бесконечный спор западников и славянофилов отражает, по-видимому, мучительное недоумение, испытываемое мыслящим русским человеком перед загадкой своей родины. Он любит ее, интуитивно прозревает за "азиатской рожей" светлый лик и не может отделаться от мысли, что рожато вообще не природное образование, а маска, надетая к тому же не добровольно, а по принуждению. Поскольку злоумышленника, занятого изготовлением личин, обнаружить не так уж трудно, на его голову обрушиваются проклятия и призываются кары, а сокровенный лик святой Руси расписывается сусальными красками в меру отпущенной тому или иному патриоту безвкусицы. Однако прочность и неснимаемость маски не может не беспокоить русского человека. Где-то в глубине души у него живет сомнение: а что если это и не маска вовсе? А что если маска приросла настолько, что снять ее невозможно? И так как российская действительность чрезвычайно способствует таким сомнениям, русский патриот становится нервозен и особенно нетерпим к тем, кто скло-

нен указывать ему на обоснованность его тайных страхов. Отсюда злоба и раздраженность, так неприятно поражающие непредвзятого читателя в многочисленных писаниях русских эмигрантов национального толка. Причем это относится к представителям разных поколений эмиграции, разных ее "волн", как принято сейчас говорить.

Национализм всегда был господствующим умонастроением русской эмиграции. В силу исторических причин, которые до сих пор остаются скрыты от большинства эмигрантов, крушение Российской империи произошло под флагом интернационализма. Белое движение боролось за единую и неделимую Россию против отрицательной национальной идеи и всяческих сепаратистов. Но русский народ видел в белых лишь реставраторов прежних, ненавистных ему порядков. И право же, не одни еврей-комиссары со своими отрядами латышей, китайцев и венгров одержали победу в гражданской войне. Белое движение было побеждено, потому что против него было большинство народа. Никакими ухищрениями не скрыть этого прискорбного исторического обстоятельства.

Даже чекистский террор и продразверстка не смогли изгладить в памяти русского крестьянина веков помещичьего гнета и рассеять его недоверие к тем, в ком он усматривал — справедливо или несправедливо — борцов за возвращение земли помещикам. Свободу русский мужик не ценил. Интеллигентские выдумки были ему непонятны. Он хотел мира, земли, хлеба. Вместо мира он получил гражданскую войну, в которой, согласно своему разумению, отстаивал новообретенную землю от ее прежних хозяев. Хлеб у него отбирали продотряды, и мужик готов был восстать против новой власти, но власть вовремя придумала НЭП. Одновременно происходила консолидация невиданной формы государства — тоталитаризма, оказавшегося сильнее всех прочих социальных факторов и пережившего все кризисы — как навязанные, так и созданные им самим.

Эмиграция жила ожиданием скорого падения советской власти. Революция представлялась эпизодом, а не началом новой эпохи. На ее осмысление у эмигранта часто не хватало

душевных сил — слишком сильна была ненависть. Советская власть не пала, но претерпела эволюцию — не ту, которую предсказывал либерал Милюков, но, скорее, ту, которую провидел монархист Шульгин, закономерно пришедший на склоне лет к апологетике коммунистического режима.

Для тех представителей правой, националистической эмиграции, которых ненависть к внешним атрибутам советской власти не лишила способности трезво оценивать ее содержание, коммунистическая власть превратилась в подлинную преемницу прежней империи, а большевики — в "собирателей земли русской". И какая разница, какой ящик сидит на облучке гоголевской тройки, если по-прежнему "косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? Марксистская вывеска на фасаде величественного здания государства российского могла обмануть только тех, кто сам хотел быть обманутым. А таких в русской правой эмиграции было много.

Чтобы как-то объяснить себе непостижимую действительность и оправдать свою враждебность власти, воплощающей заветные мечты русского национализма — пусть под чужим флагом, — был изобретен миф о господстве в России всеильной идеологии, пленниками которой остаются диктаторы. Утверждается с полной серьезностью, что идеологическое обоснование той или иной формы правления важнее ее реальных черт. И если Бердяев и Федотов видели в сталинизме своеобразный русский фашизм, то правые эмигранты в полном согласии с официальной советской пропагандой утверждают, что никакого сталинизма не существовало в природе. Советское государство с первого дня своего существования и по сей день было и остается марксистской идеократией, чуждой духу русского народа и русским национальным традициям. Они не хотят и не могут видеть специфически русских, московских черт выпестованного Сталиным государства.

Сказанное здесь не следует рассматривать как отрицание права русского народа на собственный национализм, если только понимать последний так, как понимал его когда-то

П. Б. Струве в своей замечательной статье "В чем же истинный национализм", посвященной памяти Вл. Соловьева. Наоборот, идеализация изжитых исторических форм национального бытия, модное неославянофильство, обращенное против попыток борьбы за осуществление в России западных начал свободы личности и конституционных ее гарантий, должно быть отвергнуто со всей решительностью теми, для кого любовь к России не тождественна политической реакционности.

2

Высказывая в краткой и несовершенной форме эти общие соображения, я хотел бы сослаться на опубликованную недавно в журнале "Континент" статью недавно эмигрировавшего из Советского Союза философа Б. Парамонова "Парадоксы и комплексы Александра Янова". На фоне привычного дилетанства русской эмигрантской публицистики, ее порой изумительного невежества, статьи Парамонова выглядят письмами из другой эпохи: редкая эрудиция, глубина мысли, блеск и благородство стиля — все эти черты неизменно присутствуют в работах этого автора. Тем более огорчают фальшивые ноты, звучащие в критике Парамоновым историософской концепции А. Янова, — критике, во многом совершенно справедливой и убедительной.

Пороки историософской схемы А. Янова бросаются в глаза любому непредвзятому читателю. Совершенно справедливо указывает Парамонов на ограниченность безрелигиозного либерализма обличителя "русской идеи", лишаящую его хлесткую и остроумную критику подлинной глубины. Совершенно верно и утверждение Парамонова о том, что схема дегенерации славянофильства заимствована Яновым у старых критиков этого течения — П. Милюкова и Вл. Соловьева. Но здесь возникает у Парамонова тема апологии русского консервативного национализма, приятная, по-видимому, слуху русского эмигранта, презирающего гнилой Запад, на который его забросила злая судьба. По мнению Парамонова, Янов "следует односторонней, узкопартийной оценке

славянофильства, исходящей от его противников-оппонентов. Это показывает, что Яновым не предпринято объективное, беспредпосылочное исследование феномена славянофильства" /шире — национально ориентированной мысли/. Более того, предпосылкой выбрано априорное отрицание "русской идеи".*

Обвинение в русофобии является расхожим аргументом право-националистической публицистики в эмиграции. К нему прибегают так часто и так охотно, что возникает подозрение: не скрывается ли за ним пресловутый комплекс неполноценности бесправного подданного могучей империи перед лицом свободного европейца. Всякая критика русского прошлого, ее далеко не идеальных политических институтов изображается злонамеренным проявлением вражды к России, исходящей от ее бесчисленных, разнообразных, но единокорных в своей ненависти к народу-богоносцу недругов и супостатов. Вспомним хотя бы недавнюю травлю А. Синявского на страницах эмигрантских журналов за оброненные им горькие слова о покинутой родине. А еще раньше — травлю покойного А. Белинкова.

Чего стоит стиль эмигрантской полемики — оскорбительный прежде всего для того, кто не стесняется прибегнуть к аргументам подобного сорта. За примерами далеко ходить не надо... Не стоило бы утонченному мыслителю Б. Парамонову заимствовать аргументы из арсенала своих неотесанных собратьев по перу. А ведь обвинение в русофобии — оттуда.

Обвинение в предвзято-недоброжелательной оценке "национально ориентированной мысли" выдвигается Парамоновым против великого русского философа Вл. Соловьева, которому принадлежит заслуга самой глубокой критики славянофильства, исходящей из принципа религиозного универсализма, критики, до сих пор не превзойденной и не опровергнутой. Парамонов отождествляет взгляды Соловьева со взглядами историка-позитивиста, убежденного западника П. Милюкова.

* Борис Парамонов. Парадоксы и комплексы Александра Янова. Континент, №20, стр. 238.

Между тем, если схема вырождения славянофильства и роднит Соловьева с Милюковым, то религиозно-философские предпосылки критики славянофильства Соловьевым совершенно иные, чем безрелигиозные либерально-западнические идеи Милюкова. Трудно предположить, чтобы Парамонов не знал о критике Соловьевым позиции Милюкова.

Союз великого христианского философа, наследника лучшего в славянофильстве, с либералами-западниками полон глубокого смысла. В нем как бы намечается не достигнутый до сих пор синтез плодотворных идей славянофильства и западничества, и подводится прочный религиозный фундамент под освободительные стремления русской интеллигенции. Не примитивный материализм или стерильный позитивизм, но единственно достойное быть обоснованием демократии учение о божественном праве личности, укорененное в подлинно религиозном мировоззрении, должно бы стать знаменем тех, кто отвергает сегодняшний российский деспотизм.

Как знаменательно игнорирование Соловьева Яновым и его оппонентом! Обоим совершенно непонятен и чужд соловьевский синтез. Парамонов отвергает безрелигиозный либерализм ради реакционного романтического национализма. Он призывает вернуться не только к глубоким и верным культурфилософским идеям славянофилов, но и к их пагубным для славянофильства как духовного течения заблуждениям.

Разумеется, для этого славянофильские теории должны быть подвергнуты переосмыслению, а их традиционная оценка отвергнута в качестве недомыслия или злонамеренного искажения.

Следует признать, что эта операция проделана Парамоновым весьма искусно. Не сразу можно заметить подмену. Суждения ложные, предвзятые, чередуются с неоспоримо верными. Стиль Парамонова здесь нарочито неясен, туманно-многозначителен, мысли не высказанные до конца, оставляют поле для отступления.

Постараемся, однако, восстановить позицию Парамонова, пользуясь его собственными словами. "В трактовке, данной Милюковым и Соловьевым эволюции славянофильства, той трактовке, которой следует Янов, содержится крупная ошибка: они видят линию непрерывного развития там, где ее в действительности не было. Корень этой ошибки — в тех же стереотипах либерального мышления: в попытке приписать славянофильству политическую идеологию, имплицитно содержащуюся в самой установке на примат национального бытия. "Национализм" славянофилов был не политикой, а культурфилософией — учением об органических корнях культуры".*

Действительно, вопрос о преемственности идей тех разных мыслителей, по отношению к которым применяется термин "славянофилы", совсем не прост. Именно в этом вопросе обнаруживается отмеченное выше различие взглядов Милюкова и Соловьева, различие, игнорируемое Парамоновым.

Преемственность, о которой говорит Соловьев, определяется внутренней диалектикой идей. Это преемственность не столько фактическая, сколько логическая. Разложение славянофильства есть закономерное следствие внутренней противоречивости его первоначальной доктрины. "История славянофильства есть лишь постепенное обличение той внутренней двойственности непримиренных и непримиримых мотивов, которая с самого начала легла в основу этого искусственного движения. Кто-то из русских писателей довольно хорошо выразил эту роковую для славянофилов двойственность, назвав их археологическими либералами.** Так характеризует Соловьев противоречивый характер славянофильского учения. Но Парамонов усматривает в этой характеристике подмену культурфилософских критерием политическими, искажающую его облик. Отказывая славянофилам в политических воззрениях, он вынужден придавать их совершенно ясным высказываниям смысл, по существу противоположный тому, который вкладывался в

*Там же, стр. 247.

** Вл. Соловьев. Сочинения, т. 5, стр. 163.

них самими славянофилами. При этом он не останавливается перед чрезвычайно резкими нападками на этих мыслителей, которых будто бы защищает от либерально-рационалистических клеветников. Он представляет их какими-то недоумками, не умевшими выразить собственных мыслей. Он поучает давно умерших и лишенных возможности возразить мыслителей тому, как следовало формулировать свои идеи, чтобы они вполне соответствовали идеям Парамонова и не давали пищи "клеветникам России": "Удивительная терминологическая беспомощность /прямо сказать, бездарность/ славянофилов /собственного имени не сумевших придумать/ сослужила им дурную службу и на этот раз. Там, где нужно было сказать "культура", Аксаков сказал "государство", где нужно было сказать "небо" — он сказал "земля". Эсхатологическая по сути доктрина оказалась высказанной в политических терминах: власть, свобода, гласность".*

Сведя противоречия славянофильского мировоззрения к неудачной терминологии, Парамонов все же испытывает некоторое беспокойство.

Оказывается, что славянофилам была присуща ошибочная тенденция "представлять религиозные ценности в символике преходящих исторических образов", в результате чего произошла подмена религиозной проблематики культурфилософской.

Если вникнуть в суть этого тезиса Парамонова, придется признать, что от декларированного им опровержения либеральной концепции славянофильства остается немного. Ибо в подмене вечного временным, религиозного — национальным и состоит первородный грех славянофильства, обличенный Соловьевым.

Признав за славянофилами заслугу открытия русского христианского культурно-исторического типа, Парамонов предпринимает попытку выяснить его признаки, и в конце концов приходит к звучащему вполне по-бердяевски выводу о том, что "христианской доминантой русской духовности

* Б. Парамонов, цит. произведение, стр. 248.

была тенденция отделять дело культуры от дела спасения".*

Нелегко вникнуть в суть этих глубокомысленных и туманных рассуждений. Все же невозможно отделаться от мысли, что характеристикой русского культурно-исторического типа по Парамонову является стойкий консерватизм, противостояние любым попыткам "свести небо на землю", а проще говоря — осуществить земными средствами некий общественный идеал, имеющий религиозное происхождение. Отрицая какую-либо причастность славянофильства к политике, Парамонов преследует вполне определенные политические цели.

3

Когда Парамонов спускается с теоретических высот на землю, возвышенный туман, окутывающий его рассуждения, рассеивается, и во всей своей неприглядной наготе перед читателем предстает излюбленная идейка русских правых: легенда о большевизме как иностранной оккупации. Парамонов не оставляет ни малейших сомнений относительно своего взгляда на этот вопрос. "Ясно, что "русская идея" как религиозно-культурный феномен, — говорит он, — была не модифицирована большевизмом, а сорвана им".** И дальше: "Но большевизм никогда не был русской силой, он паразитирует на русской силе, на русском теле".***

Сторонники этого популярного взгляда никогда не задумывались над тем, как оскорбителен для достоинства русского народа этот тезис, превращающий великий народ в пассивную, безвольную массу, безропотно подчиняющуюся чужому влиянию. Ведь совершенно очевидно, что кучка большевиков никогда не смогла бы удержать власть в борьбе со своими многочисленными и сильными противниками, если бы не опиралась на поддержку большинства народа. И если большевизм был нашествием бесов, то бесы неспроста всели-

*Там же, стр. 251.

** Там же, стр. 252

***Там же, стр. 253.

лись в могучее тело России, несмотря на усилия искусных экзорцистов. Ссылки на террор как на доказательство иногородского происхождения советской власти выглядят неким историческим курьезом, учитывая, что террор неоднократно применялся правителями разных стран для борьбы с "внутренним врагом" — единокровным и часто исповедующим ту же религию.

Еще Моисей не останавливался перед террористическими мерами — для вразумления народа, впавшего в идолопоклонство. А террор французской революции? Тем не менее Парамонов считает возможным сделать такое характерное заявление: "Корневая русская власть не нуждалась бы в физическом уничтожении среды своего "местопребывания" /термин Р. Н. Редлиха/. Насильничество идет как раз от ее чуждости "почве" — нет у нее иных способов удержаться в чуждой геополитической среде".* Словом, большевистский террор является прямым следствием нерусского происхождения власти. Концепция, что и говорить, ясная, хотя и насквозь фальшивая. И начинаешь догадываться, зачем понадобились Парамонову рассуждения о русском культурно-историческом типе, будто бы непримиримо враждебном любым попыткам осуществить спасение в рамках культуры. Ибо такое спасение — синоним социализма для того, кто живет в концептуальном универсуме Парамонова. А социализм, как доказал несравненный Шафаревич, — это неодолимая тяга к самоубийству...

Поразительно, как теоретически беспомощно, тенденциозно и недобросовестно написанные обличения соломенного чучела под кличкой "социализм", принадлежащие перу этого выдающегося в своей области ученого, приводят в восторг не только невежд и дилетантов, но и людей сведущих, тонких и глубоких в суждениях, не относящихся к области общественной философии!

Парамонов является восторженным поклонником мифологических конструкций Шафаревича. Подтверждение им он

* Там же, стр. 256.

находит в ужасном факте массового самоубийства поклонников "пастора" Джима Джонса в Гвиане. Вместо того, чтобы вдуматься в подлинное значение этого потрясающего в своей жестокой нелепости свидетельства духовной болезни сегодняшней Америки, Парамонов превращает джорджтаунскую трагедию в пропагандистскую иллюстрацию излюбленного тезиса Шафаревича: "...Народный храм был самой точной моделью социализма, как он трактуется в книге И.Р. Шафаревича, даже более точной, чем "русский" социализм. События в Гвиане стали оглушительным, сенсационным подтверждением правильности этой трактовки, они произошли как бы специально для того, чтобы доказать правоту русского автора".*

Вне всякого сомнения, джорджтаунское коллективное самоубийство принадлежит к числу самых страшных и непостижимых событий нашего времени. Но если попытаться его квалифицировать, придется отнести его к категории массовых психозов на религиозной почве. Оно порождено, по-видимому, апокалиптическим мироощущением, абсолютным неприятием мира, погрязшего в грехе, родственным, вероятно, тому настроению, которое вело некогда русских раскольников на костер. Самосожжение было в те годы весьма распространенным явлением. Но едва ли в нем было что-либо социалистическое. Так же как и в многочисленных случаях самосожжения буддистских священников или в японском культе самоубийства. Может быть, "Народный храм" и похож на представление Шафаревича о социализме, на социализм он не похож...

Но анализ гвианской трагедии увел бы нас от главной темы. Вернемся в Россию. Характерно для Парамонова, что прилагательное "русский", определяющее слово "социализм", он берет в кавычки. Социализм не может быть русским — он иностранное изобретение. Русский культурно-исторический тип несовместим с социализмом. И тут обнаруживается парадоксальный характер русского националистического и анти-социалистического комплекса: эта несовместимость декларируется тем настойчивее, чем более социализм ассоциируется

* Б.Парамонов. Америка в тени Джорджтауна. Континент, №19, стр. 231.

с общественным и политическим строем современной России. Каким образом страна, духу которой социализм радикально чужд, оказалась главным объектом социалистического экспериментирования и главным распространителем социализма в мире — объяснить с этих позиций невозможно. Остается прибегнуть к детективной историософии, подкрепленной политической демонологией. Убожество такого понимания истории не смущает его многочисленных поклонников в русской эмиграции.

Никто, пожалуй, не декларирует так настойчиво свой русский патриотизм, как апологеты злополучного власовского движения, пытавшегося освободить Россию с помощью ее злейшего врага. Трагедия власовцев служит наглядным подтверждением той непопулярной истины, что ненависть к большевизму сама по себе совершенно недостаточна в качестве идейной основы противостояния господствующему в России режиму. Нужно ясное понимание его природы, так же как и природы враждебных ему сил. Не все, кто против коммунизма, способны противопоставить ему положительную программу обновления России. Такой программой, несомненно, не может быть реставрация потерпевших крах дореволюционных порядков.

Старое славянофильство культивировало ретроградную утопию. Сегодняшнее неославянофильство испытывает ностальгию по дофевральской России. Для него характерно презрительно-неприятное отношение к традициям старого русского либерализма и предпочтение демократии исконно русских форм авторитарного правления.

В либералах сегодняшние поклонники Леонтьева видят главных виновников постигших Россию бедствий. Милюков со товарищи за восемь месяцев развалил Россию, — пишет Парамонов, — а потом из эмиграции, в 1943 г., преклонился перед силой большевизма /рецидив "сменовеховства"/. Как видим из этого случая, не только национализм, но и космополитический либерализм знает свое "возмездие".* Хотя очевид-

*В. Парамонов. Парадоксы..., стр. 253.

но, что не "космополитический либерализм", но русский патриотизм, которого никогда не был чужд Милюков, побудил его, так же как и многих других русских людей в эмиграции, признать, что большевизм служит национальным интересам России. О вкусах не спорят, но мне симпатичнее тогдашние ошибки Милюкова и Бердяева, чем иллюзии Власова "со товарищи"...

Стилизируя идеи "Вех" /фальсификация которых нынче в большой моде/, Парамонов обличает русскую либеральную интеллигенцию за нелюбовь к идее государственной силы. "Коренная нереалистичность либерального мышления сказана у русской интеллигенции, может быть, ярче всего, в отношении ее к идее государства и государственной силы, — пишет он. — К этому вопросу у нее было отношение нерадивого раба, а если без метафор — прямо предательское отношение".*

Хорошо, приятно слышать голос русского националиста в полную мощь. Какие уж тут метафоры, когда шьют измену родине. Можно представить себе, во что бы вылилась благородная публицистика этого сорта, если бы имела возможность прибегать к "государственной силе". Нет, не поклонение кроваждному идолу государственной силы, но вера в абсолютное право личности вдохновляли лучших людей России, в том числе и "государственника" П.Струве, защищавшего в упомянутой выше статье права личности, не зависящие от воли Левиафана-государства и противоположные ей. Пафос этих прав и есть пафос либерализма — ненавистного и осмеянного, бессильного и повергнутого либерализма, так и не сумевшего привиться в России, более всего нуждающейся в защите личности от всемогущего государства, а не в перемене идеологии, с помощью которой государство оправдывает свою волю к могуществу. Не безвкусное националистическое хвастовство и самоупоение, но трезвое, мужественное самопознание и са-

* Там же, стр. 252.

моограничение следует проповедовать сегодня в России. Не льстить национальному духу должен русский патриот, но обличать его. "Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного, зрячего патриотизма, — писал Вл. Соловьев, — есть вопрос не о силе и призвании, а о грехах России".

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже - 8 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.*

КНИГИ МИХАИЛА ДЕМИНА

В Париже, в издательстве Роберт Лаффон, вышла в свет на французском языке книга Михаила Демина "Рыжий дьявол". Это третья по счету вещь из большого цикла автобиографических романов Демина, которые публикуются в том же издательстве на протяжении последних пяти лет.

Биография М. Демина весьма необычна. Прежде, чем стать профессиональным писателем (в Москве у него было издано четыре сборника стихов и ряд повестей и рассказов), Демина успел исколесить всю Сибирь и Север, пройти сквозь все слои советского общества — с самого верха до самого дна.

Сын крупного советского военачальника, старого большевика, он в годы сталинского террора теряет семью и дом, становится беспризорником и попадает в компанию уголовников... Об этом российском преступном мире рассказывается в первой книге цикла "Блатной". Вторая книга, "Таежный бродяга" посвящена тому периоду, когда Демина — освободившись из арктического лагеря — начинает свои сибирские скитания.

Приговоренный к трехлетней ссылке, он из ссылки бежит и вновь уходит в подполье, оказывается "вне закона"... Порвав с блатным миром, М. Демина долго не может наладить контакт с миром внешним, официальным. В сущности, главная тема этой сложной вещи — трагедия одиночества.

В книге "Рыжий дьявол" речь идет о черном рынке, о сибирском золоте, о тайных контрабандных путях и о жестоком мире лесных бандитов. На этом фоне разворачивается жизнь героя книги, который теперь предстает нам в качестве начинающего поэта и журналиста. Книга состоит из трех частей. Первая часть, озаглавленная "Горькое золото", недавно была опубликована в 46 и 47 номерах журнала "Время и Мы".

Михаил Демина — единственный русский писатель на Западе, который публикует свои книги только на иностранных языках. /Помимо Франции, они изданы также в Германии, Италии, Испании, Португалии, Японии, Америке, Израиле/.

В предыдущих номерах нашего журнала /27 и 28, а так же 35 и 36/ были напечатаны краткие фрагменты из "Блатного" и "Таежного бродяги".

Сейчас Демина подготовил к печати новую повесть "Тайны сибирских алмазов". Он продолжает также работать над новой своей книгой из биографической серии, в которой речь пойдет о жизни писателя на Западе, в основном — в Париже.



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Самуил МИКУНИС

ПРОЗРЕНИЕ

Из воспоминаний бывшего генерального секретаря коммунистической партии Израиля

Из членов ЦК я чаще всего общался с Пономаревым и Суловым, один ведал делами братских компартий, другой — идеологией. Ну, что можно сказать о Пономареве? Даже внешне он был малосимпатичен, что-то в нем было скользкое, глаза его не смотрели на вас, а непрестанно бегали. На это обращал внимание каждый, кто даже первый раз с ним встречался. Когда-то, по рассказу Югова, Сталин обратился с такими словами к Вылко Червенкову: "Что-то у тебя глаза бегают". Это произошло после того, как Червенков установил на границе с Грецией полученные из Советского Союза артиллерийские орудия. Сталин был этим страшно недоволен и, как вспоминал Югов, в разговоре все время допытывал Червенкова: "Почему ты не смотришь прямо? Почему у тебя глаза бегают?" Кто-кто, а уж Сталин хорошо знал своих соратников, их неискренность, лживость. Вот такое же впечатление неискренного, лживого человека оставлял о себе Пономарев. Даже в советском руководстве было мало таких, как он, переживших столько эпох и времен. Он с

одинаковым рвением служил Сталину, после него Маленкову, затем Хрущеву, и, наконец, Брежневу, неизменно занимая один и тот же пост куратора иностранных компартий. За долгие годы у него выработалось свое, личное отношение к каждой из компартий и к их руководителям, и он обладал уникальной способностью внушать это свое личное отношение руководителям ЦК и членам политбюро. Пономарев был непревзойденным мастером партийно-политических интриг. Я это понял не сразу, но кое-что было подозрительно уже во время первого нашего приезда с Туфиком Туби в Москву.

Как я уже писал, это было в 1952 году, Туфик Туби был еще очень молодым человеком, не имеющим ни опыта, ни имени, я его только привез в Москву, и вот он в один прекрасный день обращается ко мне и требует, чтобы я пошел к Новотному и от имени компартии Израиля выразил ему протест относительно того, что Чехословакия во время войны за независимость послала оружие Израилю. Я никак не мог понять, как он вообще мог решиться на это. Только много позже мне стало известно, что уже в 1952 году Пономарев мне говорил одно, а Туфику Туби — совсем другое. Мне он говорил, что сочувствует евреям в их войне за независимость, а Туфику Туби — что он полностью на стороне арабов. Оттого тогда, в 1952 году, Туфик Туби так осмелел.

Во время многочисленных бесед со мной Пономарев не переставал говорить о политике Израиля. Компартия неизменно выступала против этой политики, хотя страна находилась в отчаянном положении. В Израиль ехали сотни тысяч эмигрантов из стран черной Африки, но Израиль им ничего не мог дать, кроме безработицы и бараков. Мы критиковали правительство, требовали, чтобы всем дали работу и жилье, не желая считаться с реальными условиями страны, но стараясь неизменно считаться с точкой зрения советского ЦК.

Что представляет собой Пономарев, я понял лучше всего, когда в 1964 году в "Правде" прочел статью "Под знаменем антиимпериализма." Эта статья вышла накануне всеарабской встречи в верхах, на которой должен был рассматриваться

вопрос о Палестине. Статья эта содержала шесть пунктов, четыре из них были явно антиизраильскими.

Когда вышла статья, я встретился с Пономаревым и спросил его: "Почему антиизраильское — это всегда антиимпериалистическое? Почему борьба с Израилем ведется под знаменем антиимпериализма?" Ответ Пономарева был великолепен. Он сказал: "А почему вы, товарищ Микунис, считаете, что я несу ответственность за то, что пишет газета "Правда"? У нас выходит пять тысяч газет, как я могу уследить за всеми?" Я помню, что я ему ответил: "Когда Микунис приезжает в Москву, так даже хроника об этом проходит через вас, я думаю, что у вас есть помощники, которые наблюдают за всеми пятью тысячами печатных изданий". Он молчал, но по его лицу, по его бегающим глазкам было видно, насколько он недоволен всем этим разговором.

К тому же у него были свои причины не любить меня лично. Незадолго до нашей с ним встречи в разговоре с моим куратором по линии ЦК Юрием Сергеевичем Ивановым /о котором еще пойдет речь/, я случайно обронил фразу, что Пономарев по натуре своей "жлоб". Наш разговор с Ивановым состоялся в доме ЦК, в Плотниковом переулке, — у меня нет никаких доказательств тому, что о его содержании донес руководству именно Юрий Сергеевич Иванов, но что интересно: на завтра все, о чем я говорил с Ивановым, и, по-видимому, даже то, что я назвал его шефа "жлобом", дословно стало известно Пономареву.

То, что автор книги "Осторожно сионизм!" Юрий Иванов фигура одиозная, сегодня известно всем. Похоже, что даже в СССР еще никому не удалось создать подобного антисемитского "шедевра". Но я-то знал Юрия Сергеевича Иванова лично и не так уж мало времени. Он постоянно встречал меня, провожал, сопровождал в поездках.

Конечно, ни в какое сравнение с моим первым московским куратором Тишиным он идти не мог. Тишин был славный русский человек, много видевший и много понимавший. Однажды, когда мы сидели в ресторане гостиницы "Советская" и

обедали, он сказал мне /не знаю уж, как об этом зашел разговор/: "Вы думаете, что в России все так живут и питаются, как вы?.." И вообще, в своем отношении ко мне он был прям и откровенен. В отличие от Тишина Юрий Сергеевич Иванов был прожженный аппаратчик и интриган, в разговоре с ним было просто опасно сказать лишнее слово — он тотчас же шел докладывать. Да и внешне он был груб, малокультурен, чем-то напоминал выходца из среды одесских блатных, и замашки его — хитрость, готовность в любой момент подставить вам ножку, отсутствие всяких представлений о человеческой порядочности — все это было скорее из блатного мира, нежели из цивилизованного общества. Но, как видим, все это ему ничуть не помешало /а, может быть, даже и помогло/ стать одним из самых преуспевающих партийных публицистов, специалистом по "сионистско-израильским" проблемам.

Когда я вспоминаю его, то мне иногда кажется, что он даже и не был таким уж прожженным, животным антисемитом, нет, он, скорее, законченный, сформировавшийся партийный циник, человек, для которого нет вообще ничего святого, и кто знает, может, именно это и помогло ему сделать карьеру.

Другим моим куратором, но уже по линии КГБ, был Милованов. Он, в отличие от Юрия Сергеевича Иванова, в котором вообще трудно было найти что-то живое и человеческое, любил выпить, поболтать за рюмкой водки. Права заказывать спиртное у него в Крыму не было, и я по его просьбе довольно часто брал для него армянский коньяк...

Может, оттого, что мы время от времени вместе выпивали, или еще почему-то, но Милованов мне доверял и относился с некоторой симпатией, чего я никак не могу сказать об Иванове, в глазах которого я был прежде всего представителем Израиля и мирового сионизма, — а то, что я был руководителем израильской компартии, по-моему, в душе он ни в грош не ставил.

Как мне стало известно, позже, в 1965 году, Иванов приложил руку и к расколу израильской компартии. Он был мастер разжигать страсти, возбуждать у людей подозрения. Мне он, например, после раскола 1965 года говорил: "Товарищ

Микунис, разве вы можете сравнить, как мы принимаем вас и как принимаем РАКАХ?" Когда я рассказал об этом на заседании объединенного Политбюро, встал один из руководителей РАКАХа, Эмиль Хабиби, и сказал: "Послушайте, так Иванов мне сказал то же самое: "Вы не можете сравнить, как мы принимаем вас и как Микуниса!" Вот тогда-то я понял, что он лгал и нам, и РАКАХу, что Москва заинтересована не в том, чтобы поддержать нашу партию, а в том, чтобы углубить между нами раскол.

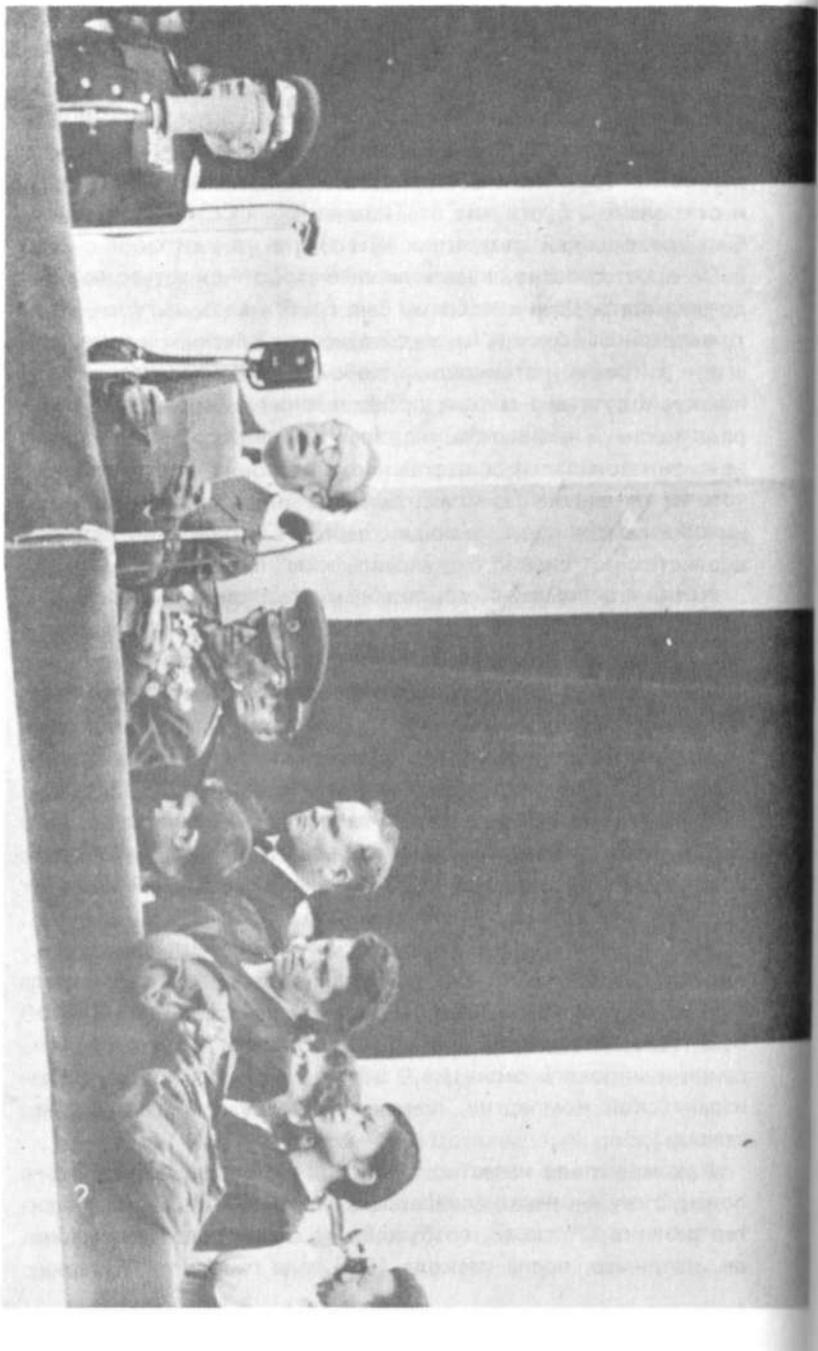
РЕЧЬ БЕН БЕЛЛЫ

Проарабские настроения в ЦК КПСС я почувствовал еще в 1964 году. Тогда я впервые и притом довольно резко выступил против арабского шовинизма, трубадуром которого стал президент Алжира Ахмед Бен Белла.

Произошло это в конце июля — начале августа 1964 года. Заболев, я снова оказался в подмосковной кремлевской больнице в Кунцево. Каждое утро ко мне в палату приносили свежие номера газет. И вот в одном из таких номеров "Правды" я читаю пространный речь президента Алжира, произнесенную им в Москве. Бен Белла произнес не просто шовинистическую речь — он ни больше, ни меньше, как призывал к уничтожению государства Израиль. То был ответный визит Бен Беллы в Москву после того, как академик Емельянов вручил ему Ленинскую премию "За мир и дружбу между народами" — в размере 50 тысяч долларов. Так вот, призывая в своей речи к уничтожению государства Израиль, Бен Белла еще и обязывался послать во имя осуществления этой "священной цели" — 100 тысяч алжирских воинов.

В те дни я был членом парламентского комитета Израйля по оказанию помощи Алжиру в его борьбе за независимость. Мы защищали тогда каждый шаг алжирского подполья, и у меня просто не укладывалось в голове, как президент Алжира, да еще на страницах "Правды" мог опубликовать такую речь.

Я не видел иного выхода, как немедленно выступить с ответной статьей, хотя, разумеется, понимал, что это значило —



Самуил Микунис выступает на похоронах Г. Димитрова.
Справа — Морис Торез, слева — Климент Ворошилов.

бросить вызов самому дружественному Советскому Союзу арабскому лидеру. Свою статью я решил послать в "Кол Гаам", но перед этим прочитал ее Юрию Сергеевичу Иванову. Он выслушал ее с "глубокомысленным" и довольно мрачным молчанием, смысл которого не трудно было понять. После этого я познакомил со статьей Вильнера и Моше Снэ, которые тотчас высказали сомнение — а стоит ли вообще публиковать этот материал. Тем не менее отступить я уже не считал возможным. Появление статьи в "Кол Гааме" было подобно внезапно разорвавшейся бомбе, хотя статья и была выдержана в весьма деликатных тонах /даже мой заголовок "Злостные вымыслы Бен Беллы" в редакции был заменен другим/. В коммунистической газете, издаваемой на арабском языке, "Иль Атихад" материал вообще не был опубликован.

Сразу же после того, как статья вышла, было созвано заседание Политбюро и ЦК партии, где она была решительно "осуждена". Причем осуждение последовало не только со стороны арабских членов ЦК, но и со стороны таких последовательных "интернационалистов", как Меир Вильнер, обвинивших меня в том, что я отступил от общепринятых партийных норм.

Моя статья против Бен Беллы была первым выстрелом против арабского шовинизма... Статья эта, точнее, высказанное в ней осуждение арабского шовинизма, и привела к расколу коммунистической партии, который произошел на 15 съезде.

На наш 15-ый съезд ЦК КПСС прислал делегацию в составе двух академиков евреев — Францева и Митина, оба, как я узнал потом, имели специальное задание ЦК — выяснить настроение в партии. Оба лично мне не особенно доверяли, подозревая в симпатиях к сионизму, но оба же, особенно Францев, не устали со мной заигрывать, то и дело пытались завести разговор по душам.

Помню, уже на аэродроме, услышав какую-то фразу на иврите, Францев просил меня ее перевести и разъяснить ему ее смысл. Фраза эта была "одночество на людях", и, когда я объяснил ему ее смысл, он буквально пришел в восторг от моего



Самуил Микунис и президент Израиля Залман Шазар.

знания русского языка, так же, как от этого обычно приходил в восторг кэгебист Милованов. Однажды я ему сказал: "Дайте мне нож, мне нужен нож до зарезу!" Надо было видеть, какая симпатия была в его глазах, когда он услышал эту фразу. Им всем нравилось, что я так хорошо говорю по-русски, им казалось, что благодаря этому со мной будет легче, чем с кем-то другим, договориться и найти общий язык.

Может быть, они поэтому не стеснялись вмешиваться в любые наши внутренние дела. В 1963 году мы издали антологию израильской поэзии. Открывали сборник стихи Бялика. Нужно было видеть, какое возмущение это вызвало в ЦК и даже у самого Хрущева. "Бялик? — кричал Хрущев, — Бялик наш! Бялик наш, украинец, и ты его не тащи в израильскую поэзию!". Тогда я заменил Бялика Фихманом, хотя Фихман тоже был "украинец", но они просто об этом не знали.

Почти так же часто, как с Пономаревым, мне приходилось встречаться и с Сусловым. В отличие от Пономарева, Суслов производил впечатление интеллигента, интеллигента и догматика, причем великодержавного советского догматика, который вообще не хотел знать ни о каких других интересах, кроме интересов Советского Союза и КПСС. Думаю, что все эти понятия: "братские компартии", "пролетарский интернационализм", "национальный суверенитет", которыми он оперировал, для него ровным счетом ничего не значили рядом с великодержавной политикой КПСС.

Суслов, кстати, довольно часто хвалил нашу партию, говорил, что мы прекрасные интернационалисты. Действительно, мы были интернационалисты необыкновенные, потому что мы занимались всеми: занимались арабами, занимались Советским Союзом, только не Израилем и не еврейским народом — таких интернационалистов нигде нет, их можно найти только среди евреев.

Поэтому, когда однажды, обращаясь к Суслову, Туфик Туби воскликнул: "Вы не знаете, как Микунис принимают в Назарете!" — Моше Снэ, присутствовавший при этом, сказал все тому же Суслову: "Но вы не знаете, что Микунис сделал

для Назарета, сколько он положил сил на то, чтобы помочь арабам в нашей стране!"

Насколько я помню, разговор этот происходил в ноябре 1965 года, сразу после раскола компартии, когда с одной стороны я и Моше Снэ, а с другой стороны Туфик Туби приехали в Москву ...отчитываться в происшедшем.

Причиной раскола был рост арабского шовинизма, который и поддержала арабская часть компартии, возглавляемая Вильнером и Туфиком Туби.

Приехав в Москву, мы предстали перед высшим партийным судом в лице Сулова и Пономарева, который вынес, так сказать, последний "приговор" — в этом решении было семь пунктов, шесть из них были направлены против Израиля и сионизма, смыкающегося с международным империализмом. Единственно, что нам удалось тогда в Москве отстоять — это седьмой пункт, в котором, правда, довольно глухо сквозило осуждение арабского национализма. А так все сионизм и сионизм. Помню, я не выдержал и воскликнул: "Причем тут сионизм, когда есть богачи и бедные!" Наивный человек! Я все еще пытался апеллировать к классовому самосознанию московских товарищей. Кого это интересовало, Сулова, Пономарева? Ведь в недрах ЦК уже открыто вызревала шовинистическая, антиизраильская политика.

Но тогда, повторяю, я еще этого не понимал. Оба — и Пономарев, и Суслов, внимательно выслушали нас, потом каждый выступил с речью. Пономарев читал по бумажке, больше всего опасаясь отклониться от написанного кем-то для него текста. Суслов говорил без бумаги, он сказал, что с такими разногласиями можно оставаться в одной партии: ясное дело, очень волновал Михаила Андреевича Сулова какой-то там арабский национализм!

Вообще, антиизраильские настроения и в ЦК КПСС, и в братских компартиях все сильнее давали о себе знать. Из руководителей "братских компартий" единственно, кто с симпатией относился к Израилю и евреям, был Георгиу Деж. Он был выходцем из России, здесь обучился когда-то слесарному

мастерству у одного старого еврея. Через меня Георгию Деж постоянно посылал из Бухареста этому еврею посылки.

Вообще, Георгию Деж в разговорах со мной довольно резко отзывался о линии Москвы, стремящейся подмять под себя все компартии. По-моему, в КГБ знали о его настроениях, может быть, даже подозревали, что они близки моим, и поэтому я смог без всякого труда получить снимок, на котором мы рядом были сфотографированы во время одного из перерывов на XIX съезде партии. Других таких же фотографий, например, где я стоял рядом с Долорес Ибаррури или Фурцевой, мне получить так и не удалось /кто-то в Москве мне объяснил, что КГБ опасалось, как бы я не использовал их в провокационных целях/. Впрочем, еще одну фотографию мне преподнесли, причем очень торжественно: это, когда я приветствую съезд, а Косыгин, Фурцева, Сулов и все, кто сидели в президиуме, аплодируют мне. Такую фотографию я вряд ли мог использовать в "провокационных целях!"

Вообще, мое общение с руководителями ЦК носило довольно своеобразный характер. Встречи, особенно с Суловым и Пономаревым, происходили довольно часто. Но ни на один из своих письменных запросов я никогда не получал ответа — никогда! Помню, сразу после 56 года я обратился в ЦК с запросом, почему Советский Союз не устанавливает с Израилем такие же отношения, как, скажем, с Францией или Англией, речь шла прежде всего о развитии экономических отношений. И что же? Никакого ответа! Тогда я решил лично обратиться с этим вопросом к Куусинену: "Почему у Советского Союза нет таких же отношений с Израилем, как со странами Запада?" "Принципиально вы правы, — ответил Куусинен, — но терпение надо иметь, терпение...". "До каких же пор должно существовать это терпение?" — раздраженно проговорил я. На это Куусинен уже ничего не ответил, последовало обычное в таких случаях молчание.

Вообще, по-моему, нигде в мире нет таких мастеров молчать, как в руководстве ЦК КПСС. В ответ на любой ваш вопрос, на любое возмущение или восклицание чаще всего сле-

дует молчание. Пустой, ничего не выражающий взгляд и такое же ни о чем не говорящее молчание.

Только позже, после 1964 года, я начал постепенно догадываться, что означало это столь "глубокомысленное" молчание в ответ на мои вопросы. Им просто нечего было мне сказать. Я-то ратовал за справедливое, интернационалистское отношение к Израилю, а они уже вынашивали далеко идущие антиизраильские планы!

Но, повторяю, понял я это позже, а до 1964 года выдвигал перед "московскими товарищами" все новые и новые вопросы. Так, помнится, в 1957 году, после празднования сорокалетия Октябрьской революции, я поставил на заседании ЦК два совершенно неожиданных для них вопроса. Во-первых, о развитии еврейского языка и еврейской культуры в СССР. /"Почему вы не издаете Ленина на идиш, скажите мне, почему?" — обратился я к Хрущеву/. И второй вопрос — об объединении еврейских семей.

Хрущев тогда спросил меня: "Что значит объединение еврейских семей?" Я сказал: "Мы имеем в виду две тысячи пятьсот семей". На что он мне ответил: "Вы знаете, что такое еврейская семья? Это дядя, это тетя, это бабушка с дедушкой!" Я сказал: "Это одиннадцать человек! Значит, я требую, чтобы отпустили 27500 человек..." Но и этот разговор ничем не кончился, мне обещали подумать, а как руководители ЦК думают, я уже рассказывал.

РАСКОЛ

Однако вернемся к ситуации в компартии Израиля. Как я уже писал, в 1965 году в компартии произошел раскол, и обе стороны были вызваны в Москву в ЦК КПСС, на высший партийный суд. Я писал также о том, что суд в ЦК осуществляли Сулов и Пономарев, которые пришли к выводу и об этом сказали вслух: что с такими разногласиями можно жить и в одной партии. Но мы-то — и в первую очередь, Моше Снэ, Эстер Виленская и я — конечно знали, что наши разногласия глубоко принципиальны, ведь речь, в конце концов, шла о том,

должна ли партия поддерживать арабский национализм или ей следует быть компартией еврейского народа.

Вообще, вопрос об отношении к арабскому национализму проходит красной нитью через всю историю коммунистического движения Израиля. Именно этот вопрос породил в партии первый раскол, который произошел еще в 1943 году, за пять лет до образования государства Израиль.

Тогда, в 1943 году, меня без всякого предварительного уведомления выбросили из партии якобы за мое неверное отношение к арабскому национальному движению. Я был секретарем Центрального Комитета, а мне сообщили /как много лет позже сообщили Хрущеву/, что я больше не секретарь ЦК и даже не член партии. Я приехал в Иерусалим, где было принято решение о моем исключении, и очень резко выступил в зале имени Яши Хейфица. Я сказал: "Где вы научились этим приемам — выбрасывать коммунистов, даже не уведомляя их об этом? В Москве?" Кстати, именно тогда, в зале Яши Хейфица, я впервые встретил Меира Вильнера, о котором мне хочется сказать несколько слов.

Настоящая фамилия Вильнера Ковнер, родился он в России, в Вильно. Отсюда его псевдоним Вильнер. В Палестину приехал в 38—39 году, после чего поступил на исторический факультет Иерусалимского университета. В партию вступил в 1939 году и сразу же занял проарабскую линию. В течение всех последующих лет я и Вильнер стояли неизменно на противоположных позициях. Во мне, как я уже писал, довольно рано проснулось еврейское самосознание. Это чувство начисто отсутствует у Меира Вильнера, он был и остается еврейским мараном, не верящим в будущее еврейского народа, не любящим свой народ. Этим и сумели воспользоваться в Москве, превратив его в послушного исполнителя своей воли.

Когда в 1943 году я выступал в зале Яши Хейфица, Вильнер, тогда еще совсем молодой, не рискнув подняться, то и дело подавал реплики из зала, называя меня агентом Сохнута. "Агент Сохнута! Чьи интересы ты защищаешь?" — кричал он.

Но если раскол 1943 года был сравнительно легко преодо-

лен, то в 1965 году дело уже обстояло не так, и напрасно Суслов и Пономарев пытались свести противоречия на нет. Сделать это было невозможно. Правда, внешне руководители ЦК КПСС старались сохранять объективность — разногласия незначительны, и поэтому не следует отдавать предпочтения — ни группе Микуниса, ни проарабской группе Туфика Туби. Суслов говорил о необходимости крепить интернационализм. Интернационализм и еще раз интернационализм. Но я-то чувствовал, куда дует ветер и кому на самом деле сочувствует ЦК КПСС.

"Для вас интернационализм, — сказал я Суслову, — это значит, что все должно быть подчинено интересам арабов, а о еврейском народе надо забыть вообще".

Характерно, что после раскола в нашей партии МАКИ, которую кроме меня, возглавляли Моше Снэ и Эстер Виленская, было 95 процентов евреев и 5 процентов арабов, а в РАКАХ — наоборот, 5 процентов евреев и 95 процентов арабов. По существу, это были еврейская и арабская партии, и, как я довольно скоро понял, ЦК КПСС недвусмысленно поддерживал арабскую партию.

Никакой роли то, что мы были гораздо шире представлены в Кнессете, для советского ЦК не играло, как и не играл никакой роли мой личный авторитет: например, то, что я семь раз избирался в Кнессет и был его членом 24 года. Ничто не имело значения, кроме великодержавных интересов СССР и проарабского курса ЦК. Кстати, Меир Вильнер — один из основателей нового коммунистического списка РАКАХ — тогда даже не был членом Кнессета. Он не был членом Кнессета и в 1948 году, когда от имени коммунистической партии Израиля подписал Декларацию Независимости. Перед подписанием этой декларации меня не было в стране, а когда я приехал, он сказал мне: "Как ты можешь подписывать Декларацию Независимости, когда ты не в курсе дела?" Я согласился с ним, честолюбие никогда не двигало мной, и Декларацию подписал Меир Вильнер. Тогда, разумеется, я не знал, что наши пути так разойдутся.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

Я знаю, что мой шаг во время Шестидневной войны, когда я открыто поддержал Израиль, для многих и особенно многих граждан Советского Союза, был полной неожиданностью. Кто был в их глазах Самуил Микунис? Один из подручных КПСС и Советского Союза на Ближнем Востоке, который, приезжая в Москву, на съезды партии, на Октябрьские торжества, неизменно обращался с одними и теми же пламенными приветствиями к "любимому ленинскому ЦК". Внешне, очевидно, это так и выглядело, но из прочитанного читатель, по-видимому, уже понял, что все было не совсем так. Взрыв, происшедший в 1967 году, назревал давно, но чувство протеста прежде всего росло во мне самом, росло постепенно; не так просто было сойти с дороги, по которой шел всю жизнь и расстаться с идеалами, в которые верил. Шестидневная война в этом смысле прозвучала для меня как гонг, и надо было быть глухим, чтобы его не услышать. События тех дней великолепно сохранились в моей памяти. Все сохранилось, начиная с последних дней мая, когда пришло известие о том, что Насер закрыл Тиранский пролив.

25 мая было заседание Кнессета, и, выступая на нем, я сказал, что это нехороший шаг. Более того, я сказал, что это агрессивная акция. На следующее же утро мне позвонили из Советского посольства — оно тогда располагалось в Рамат-Гане — и пригласили на беседу к послу Чувахину. /Вообще перед дискуссиями в Кнессете я никогда не ходил к Чувахину, чтобы не говорили, что я получаю инструкции из Москвы/. На этот раз беседа была очень короткой. Когда я вошел к нему в кабинет, Чувахин выглядел хмурым и, не скрывая недовольства, спросил: "Вы знаете, чем это пахнет?" Я ответил: "Я знаю, чем это пахнет, это пахнет войной. Но если бы вам закрыли Дарданеллы, что бы сделали вы? Вы понимаете, что нам закрыли Дарданеллы, Тиранский пролив — это наши Дарданеллы". На это он ничего не ответил, и я ушел.

Пятого июня, в день начала Шестидневной войны, вновь собралось заседание Кнессета, и я вновь взял слово и с три-

буны его заявил, что Израиль ведет справедливую, оборонительную войну, и поэтому компартия Израиля ее поддерживает. Самое интересное, что я сделал это заявление в полном соответствии с учением Ленина о войнах справедливых и несправедливых. Ведь это Ленин говорил, что совсем неважно, кто сделает первый выстрел, а важны задачи воюющих сторон. Насер хотел уничтожить Израиль, который боролся за свое право на жизнь — вот в чем была суть конфликта! Но эта суть, разумеется, не интересовала ни Москву, ни так называемые братские компартии, в глазах которых я изменил делу интернационализма.

Это, конечно, была сенсация. Моя речь в Кнессете была напечатана на первых страницах всех газет. Существует правило, что в Кнессете не полагается аплодировать. Так вот, впервые в истории Кнессета, в нарушение этого правила, моя речь была встречена бурными аплодисментами. Позже один из корреспондентов газеты "Мирхав" писал: "Единственный, кто был в опасности в этот вечер, — это Микунис, потому что все его обнимали, все жали ему руки, все целовали его".

Никаких контактов ни с Москвой, ни с "братскими партиями" у меня после этого не было. Дипломатические отношения с Израилем были прерваны, и 9 июня персонал Советского посольства покинул Тель-Авив.

Правда, накануне их отъезда, 8 июня, я вместе с Эстер Виленской поехал в Рамат-Ган, в Советское посольство. Теперь беседа продолжалась вообще две-три минуты, Чувахин лишь сказал: "Вы ведете себя в Газе, как фашисты!" Это уже был новый язык, каким и по сей день не прекращает говорить Москва об Израиле и еврейском народе.

Когда я выступал в Кнессете, я уже знал, на что иду. Помню, как после моей речи ко мне подошел корреспондент газеты "Маарив" и сказал: "Как ты пошел на то, чтобы вот так сразу разрушить всю свою карьеру!" Я ответил ему, что меньше всего думаю о своей карьере, я служу народу, еврейскому народу, и это в моей жизни главное.

ПРОЗРЕНИЕ

В 1974 году израильская коммунистическая партия МАКИ, которой я руководил со дня основания государства, фактически прекратила свое существование, слившись с левосоциалистической группой ШЕЛИ. В 1974 году я ушел в отставку как член Кнессета, и на этом закончилась моя политическая карьера. В заключение мне остается сказать несколько слов, которые, быть может, представят интерес для читателя..

Шестидневная война, ставшая своего рода рубежом в моей жизни, поставила коммунистическую партию перед тяжелым выбором — либо отстаивать интересы еврейского народа, порвав с Москвой, которая требовала, чтобы партия и я, как ее руководитель, стали на путь национальной измены, либо занять открыто проарабскую линию и, забыв об интересах своего народа, отстаивать на Ближнем Востоке интересы Москвы.

Дорога, которую я избрал, хорошо известна, так же, как известно, какую линию избрал РАКАХ и его вожди Вильнер и Туби. Меня часто спрашивают, как я оцениваю пройденный путь, что могу сказать о прожитой жизни. Нужно уметь смотреть правде в глаза, какой бы жестокой и неприятной она ни была. Люди не рождаются коммунистами, как не рождаются они троцкистами, сепаратистами, правыми, левыми... Не думаю, что и мне было предначертано судьбой стать лидером коммунистического движения в Израиле. Но я не ошибусь, если скажу, что нашему поколению, то-есть поколению, вышедшему из горнила революции, были присущи многие светлые порывы. Мы мечтали сломать старую и построить новую жизнь, мечтали о рабочем братстве, о равенстве и справедливости, и прежде всего о равенстве и братстве еврейского и арабского народов. Во что вылились эти мечты и что за злаки выросли на этом чистом поле, теперь хорошо известно.

Я был среди тех, кто сеял эти злаки, и не боюсь сказать, что большую часть жизни шел по неверному пути. Многие годы я жил в мире иллюзорных ценностей, продолжая верить в то, что на самом деле давно не существует. С трибуны московских съездов, под аплодисменты таких пламенных "интер-

националистов", как Суслов, Пономарев, Косыгин, я ратовал за дружбу народов и интернационализм, не желая видеть, чего на самом деле стоят эти побрякушки слов в устах руководителей ЦК КПСС. Впрочем, много ли стоит словесное признание ошибок прошлого рядом с той грустной жатвой, которую приходится пожинать на склоне лет?

"Кто вы сегодня, товарищ Самуил Микунис? Считаете ли по-прежнему себя коммунистом? Стоите ли на позиции демократического коммунизма или, как теперь говорят, коммунизма с человеческим лицом?" Как мне ответить на эти вопросы? По правде говоря, я вообще не уверен, может ли существовать "демократический коммунизм", не есть ли это взаимоисключающие понятия. Так же, как не знаю, существует ли вообще идеология, у которой есть монополия на истину, правду и справедливость. Поэтому на вопрос, кем я себя ощущаю сегодня, — я хотел бы ответить так: я простой человек, который прожил долгую и бурную жизнь, и, похоже, на склоне ее кое-что понял. Я понял, что существуют простые человеческие истины и простые человеческие понятия, такие как "родина", "земля", "народ", и вне которых лишена смысла любая политическая борьба и любые политические лозунги. Я пришел к этому к концу жизни, и прозрение, как, вероятно, понял читатель, мне не легко далось. Но все-таки — пусть с большим опозданием — оно наступило, и, если мой жизненный опыт может кому-то помочь, то уже это одно для меня многое значит.



Кирилл ХЕНКИН

ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ

История моего друга Рудольфа Абеля

Осип Мандельштам любил повторять фразу Велемира Хлебникова: "Участок — великая вещь. Это место встречи меня и государства"

В начале 1974 года в Вашингтоне у меня была встреча с сотрудниками русского отдела Государственного Департамента. Беседа подходила к концу, когда чиновник старший годами и положением обронил словно невзначай:

— Не расскажете ли нам о полковнике Абеле?

Перед тем я около двух часов говорил о судьбе советских евреев от имени недавно оставленных в Москве друзей. Вопрос не имел никакого отношения к нашей беседе.

— Человек, известный в вашей стране под именем полковника Абеля, — сказал я, — был моим другом в течение тридцати лет ...

Я вспоминал, проверял факты, много прочел и исписал изрядное количество страниц. И понял, что не сумею рассказать о "полковнике Абеле", не говоря попутно о себе и о мо-

ем уходящем поколении. Получилась не биография моего друга и не автобиография, а записи по поводу его жизни. И моей.

МОЙ УЧИТЕЛЬ ШПИОНСКИХ НАУК

— Познакомьтесь,— сказал начальник курсов радистов Женя Геништа, — товарищи Абель и Фишер.

Геништа и сам, вероятно, не знал, кто из них кто. Неразлучные товарищи, которых — как выяснилось потом — за глаза называли "Фишерабель" или "Абельфишер", были в штатских пальто, из-под которых выглядывали заправленные в сапоги галифе. Один был атлетического сложения блондин со слегка вьющейся шевелюрой, другой — сильно польсевший тощий брюнет с длинным, красноватым, постоянно шмыгающим носом. Когда это было? В ночь на седьмое ноября 1941 года я патрулировал с другим бойцом Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР перед зданием Дома Союзов. Там мы квартировали. Наутро наша бригада участвовала в историческом параде на Красной площади.

Согласно истории, участники парада прямо с площади отправлялись на фронт, проходивший по окраине города.

Отправлялись, однако, не все. Наша бригада никуда не делась. Ей предстояло в случае чего оборонять центр Москвы и, в частности, Кремль.

Вскоре после этого меня отправили в школу радистов, в двухэтажный дом на углу улицы Веснина и Луначарского, где позже была детская библиотека. Там, в школе, я слушал сообщение о нашем контрнаступлении под Москвой и новогоднее поздравление Михаила Калинина. Это уже получается январь.

Но то было задолго до окончания курсов. А пока я постиг премудрость работы на ключе, наступил февраль, не меньше.

Потом, после выпуска, был период "смотрин." Приехали разные деятели выбирать себе людей. Для большинства выпускников, не знавших ни одного языка, вопрос решался просто. Они шли либо в партизаны, либо в опергруппы в оставляемых городах. Все они быстро разъехались.

Мой случай был несколько особый. Не всякого можно без труда выдать за француза!

Кто возьмет меня? Хозяин школы — четвертое управление? Или первое?

В опустевшей школе стали мелькать странные люди. Несколько дней перед отправкой прожил у нас вместе с сыном голландский пастор Круит, человек лет шестидесяти.

Выданный еще до приземления в родной Голландии, он сразу попал в руки гестапо и погиб.

Однажды, когда в нашей опустевшей комнате на шестерых я читал, лежа на койке, в дверь заглянул неизвестный мне человек и сделал знак следовать за ним.

Пока в разведке царил Берия, никто не смел заикнуться об изменении странного статуса Серебрянского.

После войны, когда начали гнать из разведки евреев, Серебрянского выгнали и посадили. После смерти Сталина выпустили. Но когда расстреляли Берия, снова арестовали как прихвостня казненного грузинского сатрапа. Тогда же посадили и осудили на большие сроки Эйтингена и Судоплатова. Серебрянский просидел несколько лет, вышел на волю большим стариком и вскоре умер.

Такова вкратце поучительная история бывшего театрального осветителя Якова Серебрянского.

Мой первый и последний с ним разговор не оставил у меня ощущения взаимной душевной теплоты.

Серебрянский хотел знать, как я отношусь к мысли о заброске в тыл к немцам. В очень глубокий тыл. Точнее, в Западную Европу. Еще точнее — во Францию.

К этой мысли я отнесся с подозрительным, возможно, энтузиазмом.

Есть ли у меня во Франции люди, на которых я могу положиться?

Серебрянский лениво слушал, не утруждая себя выражением внимания, не делая вида, что считает меня способным говорить что-либо, кроме ерунды.

Шаркая плоскими ступнями, он вышел, не попрощавшись, и уехал.

Но через несколько дней появились товарищи Абель и Фишер. Надо было продолжать учебу.

На квартиру моего будущего учителя /им оказался лысый, с вечным насморком, Вилли Фишер, а не атлетически сложенный Абель/, меня отвез мотоциклист нашей бригады, бывший шуцбундовец Эрвин Кнаузмюллер. Мороз был лютый, снег в Москве не убирали, машина скользила на обледенелых сугробах. Сидя в коляске, кое-как прикрываясь от ветра чемоданом, я коченел в своем демисезонном пальто.

После визита Серебрянского и товарищей "Фишерабеля" мне приказали сменить солдатскую форму на штатский костюм. Конспирация! Хотя в Москве военного времени человек моего возраста мог привлечь внимание именно штатским костюмом.

В дополнение к военному удостоверению вернули гражданский паспорт и выдали фальшивую справку о непригодности к службе в армии.

Питаться мне предстояло самостоятельно, получая продукты раз в две недели на общем складе, куда в одни и те же дни и часы являлись такие же, как я, будущие "нелегалы." Там происходили любопытные встречи. На всякий случай нам всем велели друг друга не узнавать и не запоминать. Тем более, не разговаривать.

На четвертом этаже дома во Втором Лаврском переулке Фишеры занимали две комнаты в четырехкомнатной квартире, где жили еще две семьи. Но жена Елена Степановна и дочь Эвелина были в эвакуации, в Куйбышеве. Сам Вилли спал в проходной комнате побольше. В комнате поменьше стояли две железных кровати. Одну занимал немец, парень лет тридцати, бывший боец одиннадцатой интернациональной бригады в Испании.

— Добро пожаловать! Устраивайтесь,— сказал мне Вилли по-английски, жестом указывая на пустую постель.

Я принялся распаковывать чемодан. Вилли возился у себя в комнате. Я вошел туда в тот момент, когда он, нагнувшись, что-то задвигал под диван. Пиджак задрался, и я увидел, что брюки его, истлевшие от ветхости, просто распались на задни-

це. Сквозь ткань виднелось белье. Я достал из чемодана пару брюк и протянул своему учителю. Он сначала не понял и смотрел на меня удивленно.

— Возьмите, у меня есть другие.

В первое мгновение Вилли был ошеломлен, но не стал ломаться и, быстро сбросив свои лохмотья, надел обновку. Он был гораздо выше меня, и мои брюки не доходили ему даже до щиколоток. Но было не до пижонства. Теперь он мог, переодеваясь в штатское, не бояться встать к людям спиной и даже нагнуться. / Когда в 1955 году, тринадцать лет спустя, Вилли приедет в отпуск из Соединенных Штатов, он привезет мне в подарок серые брюки на молнии фирмы Дак/.

Начались занятия.

"ГДЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК..."

Февраль 1941 года. Владивосток. Отчаянный, после Калифорнии, холод. Издали похожие на орангутангов грузчики в ватниках, ушанках с опущенными ушами, свисающих до земли рукавицах.

Воняющая сортиром гостиница "Интурист". Назойливые незнакомцы, которых не смущает ни холодность, ни резкость; в поезде — люди, пьющие за завтраком водку стаканами; постоянное чувство, что за тобой следят. Неотступно, от трапа парохода и до перрона Ярославского вокзала в Москве.

Позже я узнал, что так оно и было.

* * *

Приехавший в Россию раньше мой сослуживец по Испании Николай Поздняков разыскал меня мгновенно. Он сокрушался вместе со мной по поводу расстрела Эфрона и ареста Ариадны Эфрон.

— Но ты пойми, ведь мы ничего не знаем. Мало ли что мог наделать Сергей!

Бывший "капитан Андрэ" был доволен своей жизнью в

Горьком, куда его поселили вместе с его молодым испанским другом.

— У начальства ко мне особенное отношение. Совсем особенное!

И хихикал, умиленный любовью к нему начальства, рассказывал, как разоблачил в Горьком румынского шпиона.

И даже из его рассказа было ясно, что человек этот никакой не шпион.

Позже я узнал, что именно Поздняков был изобретателем радикального способа борьбы с идейными противниками за границей. Жертву оглушали, клали в ванну с соляной кислотой. Через какое-то время все спускалось в канализацию. Никаких улик. Клеветники, которые бы вздумали утверждать, что Москва занимается политическими убийствами, были бы посрамлены.

Вызывавшая жалость полуслепота, болезненный вид, скелетная худоба, внешнее сходство с Ганди, приличное знание нескольких языков, в частности, латыни и греческого, общая культура — все это внушало доверие, располагало интеллигентов к откровенности. Поздняков был незаменимым и восторженным провокатором. Работал перед самой войной камерным агентом — "наседкой" — в лагере для интернированных иностранцев.

Под личиной давно обрусевшего /чтобы объяснить неполадки с произношением/ француза "мсье Рэми" он втирался в доверие к настоящим французам, схваченным во время "освобождения" Прибалтики. Готовил их вербовку, которую завершал капитан государственной безопасности Кукин. Позднякова так разбирало похвастать, что одного завербованного с его помощью человека он мне даже назвал. Чем испортил мне будущее знакомство с этим очень милым дипломатом. Зная эту подробность его биографии, я всегда чувствовал себя напряженно.

Николай Поздняков! Отпрыск старинной московской семьи, представитель просвещенного купечества. В монографии Серова есть его портрет в юности.

Полицейское государство Запад понимает как систему постоянного вмешательства властей в частную жизнь граждан. А те, мол, лишь пассивные жертвы назойливого надзора.

Но уже прозорливый Орвэлл угадал, что, кроме всевидящего экрана, важно добровольное доносительство. И что в нем весь ужас.

Если разговор двух друзей подслушан с помощью хитроумного устройства, полицейское государство еще не выполнило своей главной задачи. Зато когда оба собеседника спешат наперегонки друг на друга донести, воспитательная цель достигнута.

* * *

Жизнь моей великой родины раскрывалась передо мной через отдельную бригаду НКВД, четвертое управление, учебу у Вилли.

На перекурах во время учений мой взводный Новохатько, только что побывавший на практике в Риге, рассказывал:

— Установили за ним, гадом, наблюдение. А он так ловко законспирировался — ну, ничего. Чисто! Из дому почти не выходит. А у нас из Москвы точная на него установка. Он у нас в списке. Велели брать, не дожидаясь ничего. Взяли. Засаду устроили. Старуху какую-то замели. Врала, что молочница. Обыск чуть не сутки делали — полы снимали, стены ломали. Так законспирировался, гад, ничего не нашли... Отправили его, конечно, куда надо... Да, работка у нас не сахар.

— А кто он был?

— Да из этих, из филателистов. Это те, что вроде марки собирают. Знаем мы, как вы марки собираете...

* * *

В бригаде из двух полков полного состава был всего один племянник любимца советской публики, знаменитого коми-

ка, Народного артиста республики Владимира Яковлевича Хенкина.

Сказать, что в те годы мой дядька пользовался популярностью, — это еще ровным счетом ничего не сказать.

То были годы, когда в театре и кино царил принцип: лучше меньше, да лучше. Ничтожное количество фильмов и пьес одних и тех же авторов ставила горстка режиссеров, играли одни и те же актеры. Все должно было быть апробированное, самое лучшее. "Заслуженное", "народное". В сборных эстрадных концертах мелькали одни и те же имена, исполняли один и тот же апробированный репертуар.

Мой дядька был одним из самых избранных. К тому же очень талантлив.

На улице за ним ходила толпа, и не было в России человека, за исключением, пожалуй, Сталина, к которому он не мог прийти в кабинет без приглашения. Заранее смеясь, секретарши проводили его прямо к вельможе. Впоследствии это спасло мне жизнь.

Но остаться бы мне просто полковым курьезом, не случись среди наших высших начальников Михаил Борисович Маклярский, наблюдавший до войны за миром искусств.

Маклярскому страшно льстило являться к своим высокопоставленным агентам в сопровождении племянника знаменитого Хенкина.

О том, кто этот элегантный молодой человек (обязательно в штатском), он доверительно шептал хозяевам, часто хорошим знакомым моего дяди. Но будучи осведомителями, они помалкивали.

Миша давал мне мелкие поручения: "Скажите Гущину (так звали его шофера), чтобы отвез вас (давался адрес). Скажете, что от Михаила Борисовича, возьмете пакет и привезете мне".

"Пакет" был обычно небольшой запиской, часто страничкой из ученической тетради.

Помню старушку, достающую "пакет" из-за образа с лампадой.

Помню — в заваленной книгами и старыми газетами ком-

нате — небритого, укутанного в плед, седого и патлатого антропософа, уже сидевшего раньше за свои убеждения...

В октябре 1941 года Москву могли сдать. Для оперативных групп, которым предстояло остаться в столице, нужно было срочно готовить явочные квартиры, склады аппаратуры, оружия, боеприпасов, питания для раций, продуктов. Известные соседям явочные квартиры НКВД для этого не всегда подходили.

Маклярский послал меня что-нибудь подыскать, обращаясь лишь к людям далеким от "органов", но порядочным, чтобы не предали и не обворовали.

Я сразу подумал об одной паре теософов. Муж, преподаватель математики, был другом моего покойного брата, жена — учительница химии. Нищие, святые люди. Но как уговорить их пользоваться в известных пределах доверенными им продуктами? Эти бессребреники могли, чего доброго, умереть с голоду, охраняя наши консервы. Бежать из Москвы они не собирались, заранее принимая свою "карму".

Хитрить с ними я не смел. Пришел в форме, с маузером в деревянной кобуре и сразу сказал, где служу и о чем прошу.

Они только замахали руками. Ничего не надо объяснять. У Великих Учителей сказано, что Гитлер — воплощение мирового зла! Они сделают все, что надо. Стали показывать, куда и как спрячут продукты...

Боже, как издевался надо мной Маклярский!

Эти милые московские интеллигенты, осведомители с большим стажем, тут же настроили на меня донос: Хенкин приходил к ним с пораженческими разговорами, говорил о возможности сдачи Москвы!

Я позже говорил об этой истории с Вилли. Он сказал, что не надо преувеличивать. Насколько ему известно, далеко не все население занимается доношением. Всего лишь процентов двадцать. Существуют обширные белые пятна в деревнях. Да и на заводах не полный охват. Благополучно только среди городской интеллигенции. Если четыре друга соберутся вечером "расписать пульку" — то наутро будет пять доносов. Пятый — от соседа, подслушивавшего под дверью.

Допускаю, что Вилли преувеличивал. Но количество осведомителей было и впрямь неимоверно.

А сегодня, по сведениям знающих людей, агентов среди городского населения всего только один процент. Причем далеко не все из них дают сведения в КГБ. Есть еще агентура милиции, контрразведки и других ведомств. А вы говорите — не происходит либерализации общества!

В Москве, Ленинграде и других крупных городах процент агентуры, разумеется, по-прежнему высок. Из-за присутствия там коварных иностранцев.

"ЭТА РАБОТА НЕ ДЛЯ ВАС!"

После бригады НКВД, школы радистов, четвертого управления и поручений Маклярского у Вилли я вздохнул!

Словно из фронтовой похоронной команды попал в столичную гвардейскую часть. Поваяло старыми, западными нравами. Вроде бы я мог, не изменяя политическим убеждениям своей юности, не жить в удушающей атмосфере гнусного доношительства. И к тому же мог надеяться и вовсе уехать из страны, которая успела мне опостылеть.

Но пленившие меня поначалу разговоры Вилли и Рудольфа за чаем или водкой вскоре приобрели тревожный характер.

Постепенно вырисовывались контуры моей будущей работы.

Самостоятельности не будет никакой! Важные решения все равно будет принимать Москва. А ей на "местные условия" наплевать. Никогда не похвалят и во всем будешь виноват.

Ну, это еще куда ни шло! Но и смысла работы подчас понимать не будешь. Плоды твоих многолетних усилий будут по чьей-то прихоти сведены на нет. Пример: сеть радиостанций, которую Вилли много лет налаживал в Скандинавии. Ей бы сейчас цены не было. А ее перед самой войной свернули!

Начальство, кроме Яши Серебрянского, состоит из карьеристов, дураков и стяжателей.

Куда я попал? Зачем я ввязался в эту историю? Заметив мое подавленное состояние, Вилли начал новую тему:

— Из органов не уходят!

Рудольф вторил ему, приводил примеры. Выгнать могут. Как перед войной выгнали самого Вилли. А Рудольфа чуть не выгнали. А "старика" Серебрянского чуть не расстреляли. Но по-хорошему не отпустят ни за что! А будешь проситься — посадят. Или, чего доброго, расстреляют.

Я начал паниковать.

Тогда, решив, что я созрел, ничего не говоря прямо, приводя лишь примеры из жизни и призывая Рудольфа в свидетели, Вилли принялся внушать мне мысль, что уйти из "органов" можно только одним путем: убедив начальство в собственной непригодности при полном служебном энтузиазме и политической преданности. Я, разумеется, понял не сразу. Да вообще не столько понял, сколько воспринял нутром. А когда я дошел до применения на практике осторожных советов Вилли, то сказанное мне полунамеками осуществлял полусознательно. Но довольно энергично.

Я писал эпиграммы на работников первого управления, которому меня передали, и читал их моему новому инструктору радиодела со звонкой фамилией Суворов, который тут же обо всем докладывал куда следует.

Если мне назначали сеанс учебной радиосвязи с анонимным корреспондентом, я, не жалея сил, выяснял, кто этот корреспондент, доставал номер его телефона и звонил ему, спрашивая о качестве приема.

Если вызывал для беседы шеф повыше, например, генерал Яковлев, я сразу называл его по фамилии, которую мне знать не полагалось, и начинал расспрашивать о сыне, чье существование не должно было мне быть известно.

Больше всех я допекал Бориса Эммануиловича Афанасьева, который меня раздражал своей самодовольной тупостью. Узнав номер телефона, по которому его мог вызвать только большой начальник, я звонил и буркал секретарше:

— Афанасьева! Или: "Подполковника!"

А когда, млея от подобострастия, Борис Эммануилович брал трубку и сообщал, что:

— Подполковник Афанасьев слушает! — я назывался. Шеф клокотал от ярости. Но у него не хватало духа спросить у меня, откуда мне известны его звание, фамилия, номер телефона.

Если же генерал Яковлев вызывал меня для очередного обсуждения проекта моей поездки в Швейцарию, я вносил предложения, полные служебного рвения, но лишавшие, полагаю, затею всякого смысла.

С непонятным для меня сейчас опозданием у начальства начинало складываться ощущение, что ему со мной не по пути. Конкретно упрекнуть меня ни в чем не могли, но взаимной теплоты в отношениях становилось все меньше.

Жил я уже не у Вилли. Однажды довольно поздно вечером меня вызвали на Лубянку. С первых же слов Афанасьева стало ясно: наши отношения пришли к концу.

— С вашей отправкой возникли неожиданные осложнения. Ее придется отложить на неопределенный срок.

Вынув из моего паспорта вложенную туда фальшивую справку об освобождении от военной службы по болезни и пропуск для хождения по городу ночью (подарок Маклярского), он паспорт вернул, протянув мне тут же печатный бланк, в котором говорилось, что я обязуюсь не разглашать государственные тайны, ставшие мне известными в связи с работой в органах, и предупрежден о грозящей мне в противном случае каре.

Я подписал. Сотрудник проводил меня до выхода, провел мимо вахтера по своему удостоверению, и я оказался на улице.

Я шел домой со странным чувством. С одной стороны, я понимал, что случилось то, к чему я толкал события уже давно. А с другой — я успел настроиться на отъезд в Швейцарию, и мне было обидно, что меня выгнали.

Придя домой, я застал там повестку из военкомата. За полчаса до моего возвращения ее принес какой-то офицер. На призывном пункте я должен был быть на следующее утро, очень рано.

На пересыльном пункте медицинский осмотр был упрощенного образца:

— Расстегните шубу! Застегните шубу! Годен. Следующий.

Потом нас обрили наголо. Потом построили во дворе...

Мне показалось, что я попал в часть, состоящую из каких-то говорящих на непонятном языке инородцев. Я еще почему-то подумал, что это, наверное, эстонцы. Но внешне они эстонцев не слишком напоминали. А когда нас с трудом — потому что из толпы все время раздавались странные выкрики — построили, из штабной конуры вышел писарь с какой-то запиской и выкликнул мою фамилию. Я пошел за ним. По дороге он шепнул: "Генерал-майор распорядился выдать вам увольнительную на три дня. За этот срок вы все успеете устроить".

Он объяснил, что непонятный мне язык — это так называемая "феня", воровской жаргон. Что строился я с уголовниками, которых из далеких лагерей везут на фронт в штрафные части. Что если бы я с ними провел на пересылке ночь, то меня обчистили бы до нитки, и что штрафников посылают на убой: семьдесят процентов потерь — норма!

Выписывая увольнительную, он еще сказал, что если трех дней не хватит, отпуск продлят.

Я понял, что произошло чудо. Я еще не знал, как оно произошло.

Во-первых, по просьбе моей матери всемогущий дядька позвонил главному военному комиссару Москвы генерал-майору Черных и сказал, что на пересылке Красной Пресни находится его племянник, который: а) не успел попрощаться с семьей, б) у которого было освобождение от военной службы — он хворый, в) которого забрали по ошибке и г) которого он просит отпустить домой на пару дней. Генерал распорядился.

Но это было не все. Сосед матери, преподаватель португальского в Военном институте иностранных языков, успел доложить начальству, что на пересыльном пункте ожидает отправки простым солдатом на фронт человек с дипломом парижского университета.

В тот же день я был зачислен слушателем первого курса

Военного института иностранных языков с исполнением обязанностей преподавателя французского языка.

Прошло несколько дней, и для приведения в порядок моих дел я решил получить от первого управления оставшиеся там мои документы: диплом, справки и так далее.

Мой телефонный звонок произвел легкий шок. То, что я в Москве, под крылом могущественного тогда генерала Биязи, очевидно, не входило в их расчеты. Ведь я должен был уже находиться где-то на пути к фронту, а вскоре после этого в могиле, в числе законных семидесяти процентов будущих покойников.

К сожалению, я тогда еще не успел узнать фамилию ярко-рыжего сотрудника, с которым говорил по телефону и который вынес мне документы. Назови я тогда его настоящую фамилию — Наркирьев, он, вероятно, лопнул бы от ярости. Но я еще не успел до него докопаться. А когда я закончил свое маленькое расследование, было уже поздно — у меня не было повода звонить в первое управление

Вопреки всякой логике, я еще долго кипятился и обижался, что меня выгнали.

— Разведка, — утешал меня Вилли, — все равно не для белого человека. Станете на ноги. Будете преподавать. Или еще что-нибудь будете делать...

Миша Маклярский произнес целый спич:

— Ну, так вас не послали в Швейцарию! Вы даже не представляете себе, сколько советских граждан никогда не ездят в Швейцарию! Зато вы ушли от наших по своей воле, вы никого ни о чем не просили, никому ничем не обязаны, мы вас никуда не устроивали! Демобилизуетесь и устройтесь на работу сами, без нашей помощи. А ваше дело пошло в архив. И если к вам когда-нибудь придут с предложениями, вы к этим предложениям сможете отнестись вполне индифферентно. И даже послать подальше. Это мало кому удастся.

Я не сразу понял и оценил свое фантастическое везение.

ОТ ФИШЕРА ДО ГОЛЬДФУСА

Четырнадцатого ноября 1948 года, в пять минут второго, прибывший из Куксхафена в Германии пароход "Скифия" пришвартовался к причалу к Квебеке.

Тысяча пятьсот восемьдесят семь пассажиров сошли на берег. Одного из них — Эндрию Кайотиса — не встретил никто.

Эндрию Кайотис предъявил паспорт: ему было пятьдесят три года. Он родился в Литве, давно жил в США, принял американское подданство. Место жительства: Детройт.

В этом городе его еще помнили. За год до этого Кайотис решил навестить родную Литву. По приезде туда он заболел. Сначала он писал из больницы знакомым в Америку, потом перестал. Кайотис умер. Вряд ли есть смысл сегодня спрашивать, умер ли он своей смертью. В любом случае, с его настоящим, полноценным американским паспортом в Канаду приехал Вильям Генрихович Фишер.

Вилли легко прошел паспортный контроль и таможенный досмотр и без помех пересек границу США. Затем Кайотис бесследно исчез, а в начале 1950 года в Нью-Йорке некто Эмиль Р. Гольдфус заключил и подписал контракт на квартиру в доме номер 216 по 99-й улице.

На руках у Вилли было подлинное свидетельство о рождении Эмиля Гольдфуса: он родился в Нью-Йорке 2-го августа 1902 года.

Но когда Эмиля Гольдфуса арестуют под именем Мартина Коллинза и на свет появится "полковник Рудольф Абель", то проверят архивы актов гражданского состояния и окажется, что Эмиль Гольдфус прожил на свете чуть больше года и умер в октябре 1903 года.

Эмиль Гольдфус стал устраиваться на новом месте. Если он с кем тогда и встречался, следов этого не осталось, если не считать многочисленных следов Эмиля Гольдфуса в соседних с его домом лавках, в газетном киоске, в местном отделении банка на 97-й улице. Первый вклад он сделал 12 июня 1950 года.

Позже он будет регулярно вносить на свой счет небольшие суммы: двести-триста долларов за раз. Иногда снимет небольшую сумму. Нормально для живущего на покое фотографа-ретушера.

Никто еще не знал, что такую же операцию он проделывал тогда в разных банках, в разных частях города. Зачем?

С каждым днем больше становилось людей — лавочников прачек, банковских служащих, торговцев газетами, которые в случае чего скажут: "Да, это мистер Гольдфус, фотограф".

В свободное время Вилли без конца ездит по городу, изучает все виды транспорта. Пересаживается с метро на автобус, ходит пешком, ищет удобные тайнички, подходящие места для личных встреч. Ведь ему предстоит отработать целую систему тайной связи и заставить беспечных энтузиастов ею пользоваться.

Вместе с тем Эмиль Гольдфус обрастает прошлым. Это еще не настоящее прошлое, но на первое время сгодится.

В 1951 году Эмиль Гольдфус снимает квартиру на углу Риверсайд и 74-й улицы. Квартира лучше прежней, с видом на Гудзон.

Его жизнь в этот период оставила уже следы вне круга киоскеров и банковских клерков.

Он бывает в это время у Лоны-Терезы Петка, американки польского происхождения (уроженки городка, где примерно в одно с ней время родилась жена будущего президента Никсона) и ее мужа, еврея Морриса Коэна. У того за плечами — участие в гражданской войне в Испании, служба в американской армии во время Второй мировой войны, многолетнее членство в компартии США.

Моррис — также старый сотрудник советской разведки, завербовавший, по словам Вилли, "всех, кто служил с ним в Испании".

В доме Коэнов Вилли знакомится с их молодым другом-американцем. С этим юношей, который знает Вилли под именем Мильтона, они будут продолжать встречаться и после того, как незадолго до ареста Юлиуса и Этель Розенбергов супруги Коэн бесследно исчезнут.

То ли где-то произошла утечка, и они, державшие до этого связь с Розенбергами, узнав о провале и неминуемом аресте, бежали, то ли уже приступивший к реорганизации аппарата Вилли успел изъять из цепи связи это особо опасное звено. Ведь кого бы из завербованных Моррисом многочисленных агентов, рассеянных по всей Америке, ни арестовали, следствие обязательно привело бы к его дому.

Но вариант, при котором бегство Коэнов лишь совпало по времени с арестом Розенбергов, не будучи с ним прямо связано, кажется мне даже более вероятным. По двум причинам. Имя Коэнов, как соучастников Розенбергов, всплыло задним числом, и фотографию их с надписью на обороте "Ширли и Моррис" найдут у Вилли в момент ареста. Мне почему-то кажется, что если бы их отъезд был бегством, следствием провала Розенбергов, Вилли эту фотографию все же не стал бы держать дома. Да и следствие заметило бы ее. А если он, вовремя "сменил предохранитель", и Коэны, никем не обнаруженные, уехали — то почему не сохранить фотографию. Более того, если не стремиться во что бы то ни стало обвинять московское начальство, то можно объяснить и то, что вскоре после отъезда из США супруги Коэн были направлены на работу в Англию. Согласитесь, что если они замешаны в провале дела Розенбергов и их ищут — это одно, а если они из организации Розенбергов вышли заранее и благополучно уехали в Индонезию, то это другое. Почему бы их и не послать в Англию?

А Вилли?

В конце 1953 года в Бруклине, на пятом этаже семиэтажного здания, известного под названием Ольвингтон Студиоуз, появился новый съемщик. При подписании контракта он назвался Эмилем Гольдфусом. Студию он снял только для работы, а поселился неподалеку, в мебелированной комнате.

Запомним, что к этому времени Вилли уже жил какое-то время под именем Гольдфуса на двух квартирах в Нью-Йорке. Везде показывался соседям и лавочникам, но знакомств не заводил.

Лишь в 1954 году, прожив в США шесть лет, Вилли по собственной инициативе зайдет к своему соседу, художнику Берту Силверману:

"У вас была приоткрыта дверь, и я решил, что это хороший повод для знакомства".

И представится: "Эмиль Гольдфус".

А затем они вместе с Силверманом пройдут в студию к Эмилю, где увидят много законченных или только начатых картин и рисунков, и Гольдфус скажет, слегка смущаясь:

"За годы работы ретушером я скопил немного денег и могу теперь заниматься только живописью".

Новый друг Вилли Берт Силверман скоро введет его в круг своих друзей: молодых художников, писателей, журналистов. Так Эмиль Гольдфус сразу вырвется из своей многолетней изоляции.

(Из поучений Вилли и Рудольфа во время войны: "Самое лучшее прикрытие — соседи и знакомые").

Итак, он сразу стал членом довольно многочисленной компании. В дружеских непринужденных беседах то с одним, то с другим из друзей Берта персону Эмиля Гольдфуса обогащают новыми штрихами, воспоминаниями, подробностями.

А для Вилли наступает самая счастливая и решающая пора его жизни.

С тех пор, как Вилли уехал из России для того, чтобы реорганизовать советскую разведку в США, укрепить подпольный аппарат и подготовить его на случай войны, произошло очень много событий, изменился мир.

В 1949 году судорожные совместные усилия советских шпионов, американских коммунистов и советских ученых увенчались успехом. Взорвалась первая советская атомная бомба. Оказалось, что Молотов, возможно, и не блефовал, заявляя еще в 1947 году, что секрета атомной бомбы уже не существует. В США взрыв этой первой бомбы вызывает состояние шока. Большевики украли бомбу! Рухнуло чувство спокойной неуязвимости.

И в это же время в Китае приходится капитулировать, признать победу коммунистов, бросить (пока что частично) на произвол судьбы дорогого друга Чан Кай-ши. В Вашингтоне ползут слухи: американская политика в Китае провалилась,

потому что в правительстве есть люди, через которых коммунисты влияют на его решения.

Как раз в это время, на стыке 1949 и 1950 годов, несколько бывших американских коммунистов — среди них Элизабет Бентли и Уайтеккер Чемберс — публикуют разоблачения. Они рассказывают о своем участии в коммунистическом заговоре (то есть фактически — в работе на советскую разведку) и называют имена: Хисс, Ремингтон, Джюди Коплон. Несколько советских служащих уезжают, обиженно хлопнув дверью — враги мира и дружбы между народами помешали им работать!

Американцев тащат в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.

Начинается "маккартизм" — то, что в Советском Союзе (и не только там) назовут "охотой за ведьмами": период взрыва бдительности у людей, от природы доверчивых. А в результате — чувство вины и готовность к любым капитуляциям. Но это будет потом. А тогда, как назло, в Англии, в Канаде обнаруживают шпионов.

Шестнадцатого июня 1950 года арестован Дэвид Гринласс. На следующий день у себя на квартире в Нью-Йорке арестованы Юлиус и Этель Розенберги.

Розенберг — старый коммунист, многолетний сотрудник советской разведки, начинавший с промышленного шпионажа и перешедший к шпионажу политическому и атомному.

Суд над Розенбергами, их казнь превратится в потрясающую эпопею: смесь личного героизма, небрежной оперативной работы, бездарной политики и гениальной пропаганды.

В то время как в Москве их поступок расценивается в разговорах, как очередное предательство "продажных жидочков", во всем мире коммунистическая пропаганда извлекает пользу из каждого предсмертного вздоха этих мужественных людей.

Двадцать пятого июня 1950 года, то есть через несколько дней после ареста Розенбергов, войска Северной Кореи переходят тридцать восьмую параллель. Вскоре на помощь северокорейцам поспешат сотни тысяч китайских "добровольцев",

что насторожит Москву, но не помешает ей развернуть по всему миру яростную кампанию, обвиняя США в применении в Корее бактериологического оружия.

Мир идет к новой войне. В Москве считают, что железо надо ковать, пока оно горячо. В советских войсках уже давно, еще до разгрома Германии, начали учить, что следующий противник — американцы и их западные союзники. Армия еще не переведена на мирное положение, большая ее часть находится в Германии. За две недели она выйдет к берегам Атлантики. Пока не было атомной бомбы... Но теперь надо было ждать.

Занятость Вилли растет с каждым днем. Надо готовить аппарат к трудным условиям подполья военного времени, проверять и улучшать методы конспирации. Очищать аппарат от многочисленных евреев, многих переводить в резерв, оставляя их впрок, на будущее, когда их можно будет, припугнув, снова заставить служить. Работы много, и в октябре 1952 года Вилли получает помощника, майора государственной безопасности Рейно Хейханнена, по кличке "Вик".

Пятого марта 1953 года умер Сталин.

Не знаю, плакал ли Вилли, когда свершилось непоправимое и мировое коммунистическое движение осиротело. Но, среди прочих многочисленных последствий, эта смерть отразилась также и на его судьбе.

Уже и до этого в Центре произошли кое-какие перемены. Провожавший Вилли Абакумов арестован в 1951 году и сидит в тюрьме. Он будет позже расстрелян. Расстрелян в июле 1953 года верховный шеф всех атомных дел Лаврентий Павлович Берия. Избежал расстрела, но уже стал политическим трупом инструктировавший Вилли и кормивший его на прощанье обедом Вячеслав Михайлович Молотов.

Таков краткий итог в этот жаркий май 1955 года, когда Эмиль Гольдфус зайдет в студию к Берту Сильверману, тяжело опустится на стул, молча закурит. После затянувшейся паузы, когда молодой художник уже поймет, что с его другом что-то неладно, Эмиль скажет глухо:

— Бывают дни, когда необходимо выпить.

— Выпить хорошо в любой день!

И после нескольких фраз Эмиль скажет: "... иногда весной - бывает трудно".

Потом заговорит о другом и словно мимоходом скажет, что собирается съездить в Калифорнию, чтобы пристроить одно изобретение, позволяющее с одного негатива одновременно печатать несколько цветных фотографий.

Сильверман ничего не понимает в технике, и ему неясно, зачем надо ехать в Калифорнию. Но он не спорит.

В самом начале июля, не зайдя попрощаться, лишь подсунув под дверь записку, в которой он сообщает, что вернется через несколько месяцев, Эмиль Гольдфус "уехал в Калифорнию".

АРЕСТ

За вычетом лет, когда выгнанный из разведки Вилли служил на заводе, он все остальное время работал либо в центральном аппарате на Лубянке, либо обучал агентов, либо нелегально жил за границей. В разведке он прослужил и всю войну.

Получается, что когда в 1957 году Вилли попался, он имел за плечами тридцать лет почти непрерывной работы в разведке, из которых около двадцати (из них последние девять лет в Нью-Йорке) — работы за границей на положении нелегала.

И тут он попался, как новичок.

Все, кто писал о полковнике Абеле, подчеркивали, что он провалился из-за одной-единственной тактической ошибки. В студию на Фултон-стрит в Бруклине Вилли один-единственный раз привел своего помощника Рейно Хейханнена, человека, которому не доверял, который был ему глубоко антипатичен, с которым у него не было ничего общего.

Ради этого антипатичного ему человека грубо нарушил элементарные правила конспиратор с тридцатилетним стажем Вильям Генрихович Фишер, сын другого великого конспиратора, старого большевика Генриха Матвеевича Фишера.

Около десяти часов вечера 20 июня 1947 года в окне студии номер 505 на верхнем этаже дома номер 252 по Фултон-стрит в Бруклине зажегся свет. Под свисающей с потолка единственной лампой стоял человек средних лет в очках с обрاملенной седыми волосами большой лысиной.

Дежуривший на двенадцатом этаже дома напротив агент наружного наблюдения ФБР Нейль Хейнер, не отрывая глаз от окуляров бинокля, следил за каждым движением незнакомца.

А когда незнакомец надел шляпу, темную соломенную шляпу с белой лентой, и погасил свет, агент Хейнер сообщил по радио своим коллегам на улице, что "объект" сейчас выйдет из подъезда. И указал приметку: черная соломенная шляпа с белой лентой.

За вышедшим на улицу пенсионером, фотографом Эмилем Гольдфусом пошли двое. Шляпа, темная соломенная шляпа с белой лентой, служила отличным ориентиром, не давала Эмилю Гольдфусу затеряться в толпе.

Было жарко. Гольдфус скинул пиджак и нес его в руке. Но шляпу он не снял. За ней и топали агенты "наружки".

— Скажите, Вилли, американцы сильно работают?

Вилли задумался.

— Как вам сказать? Пока их не ткнут носом, не покажут, где надо искать... Но уже если они сели вам на хвост... Очень хорошо подготовленные агенты, отличная аппаратура. И неограниченные технические средства. Я, например, выскочил из вагона метро — хвост уехал. Думал все, ушел. Ан, нет. Они по радио уже передали идущей поверх машине, и за мной, когда я вышел на улицу, увязалась другая команда. За мной временами топало сразу человек 50—60.

— Откуда вы это знаете? Вы их сосчитали?

— Наши товарищи под крышей прослушивали все их переговоры по радио.

В подъезд гостиницы Лэтэм на 28-ой улице вошел Эмиль Гольдфус — и перестал существовать. На старом астматиче-

ском лифте на восьмой этаж поднялся постоянный жилец отеля Мартин Коллинз. Он прошел в свою комнату № 839.

По имевшимся у него документам Мартин Коллинз был старше Эмиля Гольдфуса. Он родился 15 июля 1897 года. Хотя и не имея определенных занятий, Мартин Коллинз аккуратно платил за комнату и был идеальным, незаметным жильцом.

Кроме возраста, Мартин Коллинз отличался от Эмиля Гольдфуса еще и тем, что если свидетельство о рождении пенсионера-фотографа принадлежало появившемуся когда-то на свет, но умершему во младенчестве сыну немецких эмигрантов, то Мартина Коллинза вообще никогда не существовало. Свидетельство о рождении было фальшивым.

Эмиль Гольдфус — Мартин Коллинз!

Было жарко. В те годы кондиционеры были редкостью. Мартин Коллинз спал голый, не прикрывшись даже простыней, когда в семь утра в дверь комнаты 839 постучали.

/Позже, в разговоре со своим защитником Донованом, Вилли скажет: "К этому моменту разведчик готовится всю свою жизнь!" / ... Возможно, в эту ночь Вилли Фишер вспомнил, как в Москве, выгнанный из разведки, он каждую ночь ждал ареста. Шел 1938 год. Ночью, когда в глухой, закрытый с четырех сторон двор ведомственного дома на 2-ом Лаврском переулке въезжали машины, во всех квартирах просыпались, замирали, слушали.

И Вилли вздрагивал, вскакивал, ждал. И Елена Степановна, поздно вернувшаяся из цирка — тут же рядом, на Цветном бульваре, где она играла на арфе в оркестре — тоже просыпалась, замирала. Только маленькая Эвелина спала. В настоящем доме по звуку хлопнувшей двери определяли, в какой подъезд. Кого-то увозили...

... В комнату Мартина Коллинза вошли дежурившие в соседней комнате агенты ФБР. Он встретил их, завернувшись в простыню. /"Они меня застали без порток!" — скажет он потом своему адвокату Доновану. /

— Полковник, — сказал сотрудник ФБР Гамбер, — нам известно о вашей шпионской деятельности.

Раз называли меня полковником, говорил мне потом Вилли, значит, сведения у них от Хейханнена.

Вилли со все большим смаком и умножающимися подробностями рассказывал потом, как, попросив разрешения самому уложить чемодан, он под носом у сотрудников ФБР уничтожил компрометирующие материалы. Но это потом, а пока — оказывается, что трясущийся от страха Вик сказал правду. Марк* существует. Доказательства его шпионской деятельности разбросаны по комнате в гостинице Лэтэм. Позже их обнаружат и в его студии в Бруклине. Улик и следов сколько угодно. Правда, они никуда не ведут. Но это лишь потому, что Марк, умный и хитрый, сумел спрятать концы.

Есть лишь одна ниточка, которая, потяни за нее как следует, могла бы привести на интересный след. Среди захваченных в гостинице Лэтэм вещей — две фотографии каких-то людей. На обороте одной из них написано: "Ширли и Моррис".

Неужели мог опытный шпион Вилли Фишер так легкомысленно держать у себя, особенно в ночь, когда он, по его же словам, подозревал, что комната оцеплена и что его придут брать, фотографии этих людей? Ведь это его старые друзья "Питер и Лона", то есть Лона и Моррис Коэн. Я однажды застал их у Вилли на даче, где они были частыми гостями, после того как их обменяли на Джеральда Брука и они вернулись из Англии, отбыв там несколько лет тюрьмы за шпионаж под именем супругов Крогер.

Такая находка должна бы начисто опровергнуть всякую мысль о том, что Вилли ждал ареста, не стремился его избежать и сознательно оставил у себя в комнате достаточно инкриминирующих, но никуда не ведущих доказательств его шпионской деятельности.

На первый взгляд, такое возражение справедливо. Но к моменту ареста Вилли знал только, что Коэны, с которыми он встречался и, очевидно, работал сразу после приезда в Нью-Йорк, давно уехали в Советский Союз, потому что в США им грозило разоблачение и арест /так он мне говорил/. Так

* Под кличкой Марк одно время в Америке действовал Вилли.

что он мог вполне спокойно оставить фотографию своих друзей на поживу ФБР. Их розыск никуда не привел бы, укрепив статус "полковника Абеля" как важного советского резидента.

И было бы это справедливо, находишь Лона и Моррис Коэн на покое в Москве. Но они уже выполняли новое задание в Англии, куда их отправили вскоре после их бегства из США. Вилли утверждал, что ему и в голову не приходило, что после провала в Америке его друзей снова послали куда-нибудь за границу.

Успокоимся, однако: хотя Центр и совершил грубую, с точки зрения Вилли, ошибку, послав Коэнов на нелегальную работу в Англию, хотя сам Вилли и допустил просчет, держа у себя фотографии людей, как-никак державших в свое время связь с супругами Розенберг, его друзьям это не повредило. Найденная в гостинице Лэтэм фотография никуда никого не привела, а "супругов Крогер", приехавших в Англию в 1954 году, английская контрразведка арестовала лишь потому, что один из агентов их "патрона" Гордона Лонсдейля (Конана Молодого), некий Харри Хаутон, пропивал в кабаках больше, чем зарабатывал, и тем привлек к себе внимание.

Арестованного Вилли увезли в Техас. А когда через несколько дней его спросили, кто же он и откуда, он ответил, что он — гражданин СССР, полковник, и зовут его Рудольф Иванович Абель. И потребовал, чтобы его выслали в Советский Союз.

Так, пройдя через переходный шлюз Мартина Коллинза, Эмиль Гольдфус стал Рудольфом Абелем. Исторической фигурой. Человеком, которого будут судить на глазах всего мира, приговорят к 30-ти годам заключения и обменяют на Гарри Пауэрса.

Некоторые американские газеты писали, что признавшись в том, что он разведчик, назвавшись полковником Абелем, человек, известный многим как Эмиль Гольдфус, пенсионер-фотограф, "сбросил маску".

По-моему, он именно тогда ее надел!

ПРОВЕРКА "ШВЕДА"

17-го сентября 1945 года в поврежденном бомбами здании Главного уголовного суда в Лондоне, так называемом Олд Бейли, началось слушание дела Уильяма Джойса.

Подсудимый был известен в Англии под кличкой "Лорд Хо-Хо". Так прозвали его за почти карикатурно аристократическую речь, за надменный тон, которым он из Берлина говорил со своими соотечественниками. Его голос знала вся Англия.

Джойс когда-то примыкал к фашистской партии Освальда Мосли, затем создал свою собственную — национал-социалистическую партию Англии. Перед отъездом в Германию он эту партию распустил.

Оставшихся в Англии единомышленников Джойса к суду не привлекали. Самых активных изолировали на время войны, остальных вообще не трогали. А Уильяма Джойса, когда в конце войны он попал в руки британских властей, арестовали и отдали под суд. Почему?

Не за политические его убеждения. Не за пропагандные выступления по радио, как таковые. А за измену. За нарушение верности королю. А верность — долг всякого подданного Короны.

И тут возник юридический казус. Был ли Уильям Джойс, английский фашист, считавший себя архипатриотом, желавший с помощью гитлеровской Германии очистить родную Англию от тлетворного влияния гнилого демократизма и жидовского засилья, англичанином?

Его отец, Майкл Джойс, уехал в конце прошлого века в Америку, принял американское подданство, вернулся в Англию, привезя с собой трехлетнего Уильяма, рожденного в Бруклине.

Значит, Уильям Джойс был по всем существующим законам гражданином Соединенных Штатов! Американского гражданина Уильяма Джойса нельзя было привлечь к суду за измену Короне!

Да, но ради своих политических целей Джойс в свое время скрыл американское подданство и сумел получить английский паспорт. Этого не отрицал его защитник. Он утверждал, что именно незаконность получения паспорта сводит на нет все обязательства сторон. Суд однако решил, что несмотря на обман со стороны Джойса, делавший его взаимные обязательства с Коронай юридически недействительными, он, имея на руках британский паспорт, выданный по его же требованию, фактически встал под защиту британской короны. А следовательно...

А, следовательно, Верховный суд, рассмотрев апелляцию, утвердил смертный приговор, и Уильям Джойс был повешен.

Пенсионер-фотограф Эмиль Гольдфус разлетелся в пыль, Мартин Коллинз оказался чистым вымыслом; "величайший русский шпион века" оказался полковником Рудольфом Ивановичем Абелем.

А если бы тогда нашелся человек, способный сказать: "Я знаю Рудольфа Абеля. Этот человек — не Абель. Настоящий Абель похоронен в Москве на Немецком кладбище. Человека, которого вы собираетесь судить, зовут Вильям-Август Фишер. Он сын принявшего британское подданство Генриха-Мэтью Фишера. Он родился в городе Ньюкасл-на-Тайне 12 июля 1903 года. Он гражданин Великобритании, которую покинул по законному паспорту в 1921 году. По паспорту, дающему право на защиту Короны и обязывающему Вильяма-Августа Фишера соблюдать ей верность."

А сказать это мог живший еще тогда в США мой неприятный собеседник из гостиницы "Метрополь" в Валенсии, бывший руководитель советского шпионажа в Западной Европе, Александр Орлов, по кличке "Швед".

Но разоблечь Вилли "Швед" мог, даже если бы мой друг назвался любым другим именем. Да и само разоблачение вряд ли оказалось бы для Вилли роковым. Его грехи против Короны были покрыты сроком давности, и ему вряд ли могла грозить виселица за дела, относящиеся к предвоенным годам. То, что он был подданным Великобритании, лишь при-

дало бы "полковнику Абелю" еще больший престиж, а всему процессу — пикантность. Правда, пройдясь по следам англичанина Вилли Фишера /ведь Вилли работал под своим именем/, можно было бы и в Англии и в Скандинавских странах обнаружить много любопытного. Но все это было уже так давно!

Так что же может значить: "... я проверял "Шведа"! — (Слова, впоследствии сказанные Вилли).

Почему для того, чтобы с риском для жизни проверить "Шведа" надо было назваться Рудольфом Абелем. Почему?

В книге Донована есть такая любопытная деталь. Чиновник, рассматривающий просьбу "полковника Абеля" выслать его в СССР, заметил, что фамилия "Абель" очень распространена в штате Техас. Вилли с улыбкой ответил, что эта фамилия немецкого происхождения. "Абель, однако, не сказал, — замечает Донован, — что другие советские агенты использовали это имя в других странах, в другое время".

Мне же представляется наиболее вероятным, что проверка не касалась какого-то конкретного случая, речь шла об общей надежности и добропорядочности Орлова, у которого после бегства в Америку существовала с Москвой определенная договоренность.

Сам Орлов пишет об этом в предисловии к своей первой выпущенной за границей книге "Тайная история сталинских преступлений":

"Со всей возможной решительностью я предупредил его /Сталина/, что если он осмелится мстить нашим /его, Орлова, и его жены/ матерям, то я опубликую все, что мне известно о нем. В доказательство моей решимости, я приложил к письму перечень его преступлений".

Книга Орлова вышла сразу после смерти Сталина. Написана она была, естественно, еще при его жизни. Можно ли сказать, что она содержит сногшибательные разоблачения?

Книга состоит из двух неравных по объему частей. Первая — подробная история подготовки и проведения показательных процессов против партийной оппозиции. Там много интересных подробностей и впервые, насколько я знаю, пря-

мо говорится, что Сталин был истинным организатором убийства Кирова; раскрыта техника подготовки этого убийства, приведены его мотивы. Орлов также подробно пишет о методах следствия, о фальсификации приведенных на суде доказательств. Разобран и ход процессов, указаны все нелепости и противоречия, допущенные в спешке следователями. Например, знаменитая история с несуществующей гостиницей "Бристоль", где якобы встречались оппозиционеры, или с аэродромом, оказавшимся закрытым в то время года, когда, согласно обвинению, туда прилетал один из подсудимых, Пятаков, /Еще позже, когда Орлов убедится, что наследники Сталина не намерены особенно утруждать себя защитой его памяти, он опубликует в журнале "Лайф", также отталкиваясь от истории процессов и их подготовки, данные о сотрудничестве Сталина с царской охранкой. Он никогда не будет отклоняться от линии партии/.

* * *

В краткой биографии Орлова, помещенной в первой его книге, говорится, что он — участник гражданской войны, бывший партизан. Затем — заместитель генерального прокурора и один из авторов первого Уголовного Кодекса РСФСР. С 1924 года /Вилли тогда служил в радиобатальоне/ Орлов работал в ГПУ. С 1926 года — на оперативной работе за границей.

А потом — сразу: "В 1936 году он был послан в Испанию в качестве главного советника республиканского правительства по вопросам разведки и партизанской войны".

А десять лет — с 1926 по 1936 год? Все эти годы, когда руководство давало резидентурам НКВД за границей инструкции вербовать отпрысков знатных семей? Все эти годы Орлов находился в Западной Европе. Без него не делалось ничего. Когда Вилли отправился в конце двадцатых годов в свою первую заграничную командировку, именно "Швед" встретил его во Франции и перевез через Ла-Манш. Именно со "Шведом" он ходил на конспиративные встречи в лондонских "пабах", где,

по мнению Вилли, Орлов вел себя глупо, как оперный заговорщик.

Когда во время войны я впервые узнал /от Маклярского/ историю оставленного Орловым перед бегством письма, в котором он обещал молчать и "не становиться врагом", если не тронут его мать, — я тут же рассказал об этом Вилли, у которого в то время квартировал.

— Ерунда, — усмехнулся мой ментор, — если уж он попал в лапы контрразведки, там из него душу вынули.

Он воспользовался английским выражением — "они его высосали досуха".

Еще не побывав сам в "лапах контрразведки", он не представлял себе, что можно /в те годы, по крайней мере/ ничего не рассказать, кроме общих мест.

После возвращения Вилли из США и сказанных им слов: "Я проверял "Шведа", меня долго распирало спросить, как оценивает теперь Вилли поведение Орлова. Но я ждал случая, когда мой друг будет в подходящем для такого вопроса состоянии.

Мы гуляли в лесу, который от поселка старых большевиков простирается до стрельбища "Динамо" на станции "Строитель". Это как раз не доезжая станции "Челюскинская". Гуляли с собаками. Миня встал посреди тропинки, а Бишка прыгал вокруг него, тщетно пытаясь убедить идти дальше.

— Как по-вашему, — сказал я, сосредоточенно глядя на хлопающие уши спаньеля, — мог ли "Швед" при том положении, которое он занимал, не знать, скажем, о Филби?

Когда пауза явно затянулась, я добавил:

— Так как же после вашей проверки, Орлов все-таки оказался порядочным человеком?

В контексте разговора такое определение могло иметь только одно значение.

— Да, абсолютно порядочным!

Вилли улыбнулся. Кажется, подмигнул.

Заговорили о собаках. Неисчерпаемая тема для тех, кто понимает.

* * *

На пороге 1939 года укрывшийся в Мексике Лев Давыдович Троцкий получил тревожный сигнал. В письме от 27-го декабря 1938 года, посланном из Нью-Йорка, некий анонимный американец еврейско-русского происхождения писал, что вернулся из Японии, где виделся со своим родственником — недавно бежавшим из России чекистом Люшковым.

От имени Люшкова этот взволнованный обыватель сообщал Троцкому, что среди членов его парижской организации завелся опасный провокатор. Насколько Люшкову удалось узнать, этого человека зовут Марк. Люшков также мельком видел фотографию агента и по памяти дал его описание. Следовали точные приметы действительно проникшего к троцкистам советского агента Марка Зборовского, сумевшего стать правой рукой сына Троцкого, Льва Седова. Неизвестный сообщал даже такие подробности: агент женат, носит очки, у него есть маленький ребенок.

Это было, однако, не все. Русский еврей из Нью-Йорка призвал Троцкого к осторожности, предупреждал о готовящемся на него покушении, которое совершит либо приехавший из Парижа Зборовский, либо испанец, выдающий себя за троцкиста.

Пройдет немало лет, и давая показания одной из Подкомиссий Сената США, Александр Орлов — он же "Швед" — заявит, что письмо это написал он. Нет оснований ему не верить. Нет также нужды говорить, что о Зборовском и о готовящемся покушении Орлов знал куда больше.

Когда Орлов бежал в Канаду, а оттуда в США, вместо того, чтобы, следуя приказу начальства, явиться в Антверпен на борт советского парохода "Свирь" якобы для встречи с руководством, прошло уже полгода со времени смерти сына Троцкого Льва Седова. Орлов не мог не знать подробностей дела и роли Зборовского в этом убийстве, организованном советской агентурой.

Далее. 4-го сентября 1937 года, то есть за год без малого до бегства Орлова, группа русских эмигрантов /Эфрон, Сми-

ренский, Кондратьев — старые знакомые/, действуя по приказу советской разведки, убила в окрестностях Лозанны многолетнего сотрудника ГПУ - НКВД Игнация Порецкого /Рейса/, порвавшего с Москвой из протеста против уничтожения Сталиным старой большевистской гвардии.

Порецкий скрывался. Найти и убить его удалось благодаря Марку Зборовскому, который знал, что беглец назначил во Франции свидание с Львом Седовым.

Мог ли Орлов, находившийся в зените своего могущества, главный представитель НКВД в Испании, самый высший начальник надо всем, что касалось Испании, человек, имевший личный доклад у Сталина, не знать об истинных обстоятельствах дела?

По-моему, не мог.

Ведь до самого своего бегства Порецкий занимался, в частности, закупкой оружия для Испании. Он был постоянно в поле зрения Орлова.

Кроме того, часть участников убийства Порецкого бежала в Россию через Испанию, где ничто не делалось без ведома и санкции Орлова.

В самой Испании, наконец, искоренение троцкизма и уничтожение троцкистов проходили под непосредственным наблюдением Орлова. Тайные тюрьмы, где троцкистов пытали и убивали, подчинялись Орлову, исполнители тоже подчинялись ему. Убийство лидера испанских троцкистов Андреса Нина, бывшего секретаря Троцкого немца Эрвина Вольфа, Марка Рейна — сына меньшевика Абрамовича и многих других, — все это дело рук Орлова-Шведа".

Более того, агентура Орлова в рядах испанских троцкистов была не только местного производства. Я лично знал двух таких "импортных" агентов. Один, Лотар Маркс, был немец, приехавший из Франции в одно со мной время. Он почему-то не служил ни в Интернациональных бригадах, ни в партизанских частях. Он периодически приезжал /в военной форме/ к нам в часть или в барселонский дом отдыха на Авенида дель Тибидабо, 13. За ним присылал машину Орлов, и он ездил /обычно ночью/ к нему на доклад. Он сам мне говорил, что

служит в троцкистской части политработником. Он даже пролез там в руководство троцкистов.

Другой случай. В доме датско-русского анархиста /и агента НКВД/, знакомого мне по Парижу, — Бронстеда — я иногда встречал молодого русского еврея из Парижа по фамилии, если не ошибаюсь, Нарвич. Он когда-то был в Союзе возвращения, а в Испании почему-то оказался в троцкистской части. Тоже комиссаром. Причем батальонным!

Троцкисты раньше меня разгадали, в чем тут дело, и кокнули его в темном переулке. Тогда Бронстеды объяснили мне, что герой пал в борьбе с троцкистско-фашистским отребьем.

Так что в агентурной работе против троцкистов в Испании Орлов все время опирался на парижскую резидентуру и с ней сотрудничал.

В письме Троцкому Орлов дает столь подробное описание Зборовского, что ясно — он его знал: "Женат, носит очки, имеет ребенка..."

Но, зная Зборовского, он должен был знать, не мог не знать, что Зборовский агент, но не убийца. Человека не посылают убивать без специальной подготовки.

Подготовку Марк мог получить либо в России, либо в Испании, в одной из наших партизанских школ, подчиненных Орлову. В Испании Зборовский не был. В СССР он ездить не мог из-за его особых функций среди троцкистского руководства в Париже.

Так что указывая на Марка Зборовского, как на человека, способного совершить покушение, Орлов намеренно наводит Троцкого на ложный след.

А в отношении испанца, который будет выдавать себя за троцкиста, Орлов не грешит излишком информации. А мог быть пощедрее.

На историческое задание — убийство Троцкого — Рамон Меркадер был избран первым заместителем Орлова Леонидом Эйтинггоном. Перед тем, как уехать в Москву на подготовку и далее — на выполнение задания /он, кстати, не мог выехать из Испании без ведома Орлова/, Меркадер служил в

спецчастях, подчиненных Орлову и выполнял задания в тылу противника. Он был у начальства на виду. Ведь его мать, Карикад Меркадер дель Рио, была любовницей Эйтинггона и принадлежала к ближайшему окружению Орлова.

Вся операция с участием Меркадера была задумана и вступила в фазу практической подготовки и выполнения задолго до бегства Орлова, когда он еще царил в Испании. Он мог не знать, по какому паспорту и под каким именем будет действовать Меркадер, но его-то лично он знал!

Знал, в частности, что тот говорит одинаково свободно по-французски и по-испански и может сойти за француза или бельгийца. Что и произошло.

Допустим, что Орлов был наивная шляпа, не учуял, что замышляет у него под носом его первый зам. Пусть. Тогда откуда слова о том, что покушение совершит испанец, выдающий себя за троцкиста?

Но когда он пишет Троцкому из Нью-Йорка, а потом даже звонит ему /но ничего нельзя расслышать, вот беда!/, "Швед" не сообщает ни о роли Зборовского в убийствах Льва Седова и Игнация Порецкого, ни о личности возможного убийцы-испанца. Напиши он об этом, и Троцкий, вероятно, поверил бы, принял бы предупреждение всерьез.

Более того — пожелай Орлов убедить Троцкого, он назвал бы себя. Его письмо прозвучало бы совсем иначе.

Но Орлов темнит и путает, и письмо его приобретает в глазах Троцкого характер провокации. А тут как раз подоспело еще одно письмо, тоже анонимное, с разоблачением другой сотрудницы Троцкого, и "красный Бонапарт" отмахнулся, не захотел копаться в грязи!

Скажут: Орлов боялся назвать себя — за ним охотились. Отправив столько на тот свет, Орлов, естественно, высоко ценил свою жизнь. Но в данном случае дело не в страхе. Разве не было бы еще надежней вовсе не писать?

А Орлов написал. Но написал таким образом, что его предупреждение ничего не предупредило. Троцкий был убит.

Зато раскрыв через несколько лет свое авторство, Орлов укрепил доверие к себе людей, ему нужных.

Я думаю об Азефе. Как будто скрупулезно выполняя свои агентурные обязанности, великий провокатор умел, когда требовалось, делать так, что охранка оказывалась не в состоянии помешать покушению, а его товарищи по партии попадались, не догадываясь, откуда направлен удар.

В 1904 году он вместе с Савинковым руководил подготовкой убийства министра внутренних дел Плеве. Азеф знал всех участников, получал донесения тех из них, которые вели наблюдение, проверял готовность бомбистов, был в курсе каждого шага. Ему ничего не стоило просто передать полиции список имен, адреса, явки, клички и пароли, указать систему наблюдения, установленного террористами...

Азеф же скрывал от своих шефов, что лично знает террористов. Он только якобы знал их приметы, отдельные клички. Никогда не давал настоящих имен. Он сообщал: готовится покушение. Вот приметы террористов, мол, найдете — ваше счастье. Не найдете — пеняйте на себя. Я предупредил. А перед террористами он тоже был чист. Он их не выдал.

Орлов писал Троцкому так, что не мог повредить операции Эйтингона. Покушения на Троцкого его письмо сорвать не могло. Но объявив через несколько лет, что был автором письма, он сразу укрепил свое положение в Америке и привлек на свою сторону много нужных симпатий.

Но не это, однако, было главной целью при написании письма. Зачем же он его писал? И кому?

Он писал его Сталину.

Орлов мог не сомневаться, что письмо станет немедленно известно советским агентам из окружения Троцкого и будет быстро передано на самый верх. Там без труда догадаются, кто на самом деле этот русский еврей из Нью-Йорка. И там-то сумеют оценить по достоинству бездну между тем, что Орлов действительно знал о готовящемся убийстве, и тем, что он сообщил Троцкому.

Орлову лучше других было известно, как мало шансов у советского перебежчика умереть своей смертью. А он хотел спокойной, пусть относительно спокойной жизни. Бежал он не из-за теоретических разногласий со Сталиным, а спасая

шкуру. Будь он уверен, что его вызывают в Москву не для того, чтобы быть расстрелянным, а для того, чтобы расстреливать других, он, вероятно, с благодарностью принял бы новое назначение. Он сбежал от пули палача, но это еще не давало ему гарантии безопасной жизни. Где было взять такую гарантию? Скрываться без конца? Невыносимо, да и бесполезно. Найдут! Нет, надо сделать так, чтобы перестали охотиться!

Как добиться этого? Обещать молчать? Обещание без гарантии ничего не стоит. И никто не молчит так надежно, как мертвец. Значит, выход один: быть полезным, служить Сталину.

Но как сообщить Москве, что готов к услугам и ждешь приказаний?

Письмом Троцкому "Швед" давал знать о готовности быть полезным. Залог его преданности — пробитый Меркадером череп Троцкого.

Почти всех перебежчиков рано или поздно убили или пытались убить. Орлова не тронули.

Зачем, скажут мне, было действовать так сложно? Почему, раз так уже было нужно, не установить было контакт с советскими представителями?

Резонно. Но устанавливать тайный контакт с какой-нибудь местной резидентурой было опасно. Его могли впопыхах кокнуть, не доложив выше по начальству. Да и молчание его могли оценить только на самом верху, там, где был известен весь объем знаний Орлова и все подробности готовящегося покушения на Троцкого. Только там могли понять, что он скрыл, и решить завязать с ним диалог.

Мы никогда не узнаем, когда и как начался этот диалог.

Письмо Троцкому было не только предложением услуг будущим Москве, но также и залогом успеха этих в будущем услуг. Раскрыв через несколько лет свое авторство, "Швед" укреплял свой авторитет в глазах опекавшей его американской разведки, лишний раз подчеркивал, что он последовательный и ярый противник Москвы.

А в доказательство своей полной лояльности он даже помог разоблачить приехавшего в США Зборовского. Тот, честно послужив агентом в рядах троцкистов, сыграв свою роль и в убийстве Льва Седова и в убийстве Игнация Порецкого, уже потерял свою былую полезность. Зборовский оказался в американской тюрьме.

Кому-то надо было платить за кредит доверия "Шведа", за доверие к нему Москвы и Вашингтона.

Орлов прожил в США долгие и спокойные годы. Выпустил две книги и пару статей.

А главное, он читал лекции для избранных, давал советы по вопросам, касающимся советской разведки. Его содержательные доклады записывались, редактировались, печатались и шли в архив для использования специалистами грядущих поколений.

А когда кому-нибудь нужна была квалифицированная справка, он всегда мог достать из архива соответствующие рассуждения Орлова, ставшие пособием для молодых американских разведчиков, изучающих Советский Союз.

Нужно ли напоминать, что любая бумажка, покрытая архивной пылью, приобретает характер высшей истины!

Дезинформация не обязательно касается сегодняшнего дня. "Тот, кто владеет настоящим, властвует над будущим, а тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим".

НЕ ВСЯК ГЕРОЙ, КТО СМЕЛ

Еще со сталинских времен существует в СССР непререкаемый закон: не признавать героем того, кто действительно совершил подвиг. На трудовом фронте дело просто: за классического героя труда, вошедшего во все энциклопедии, — Стаханова, работала целая бригада. А во время войны, когда, видит Бог, не было недостатка в истинных героях, предпочитали, по возможности, создавать их на пустом месте. С ложным героем спокойней. Он знает, кому всем обязан. Партии!

Когда отгремела шумная американская слава, поистине героический "полковник Абель", вернувшись на родину, погрузился в трясину бытовой серости и убожества советского служащего.

Легла в больницу жена — Елена Степановна. Вилли попросил начальство помочь ему достать для нее икру в закрытом магазине КГБ. (За его, разумеется, деньги).

— Пишите докладную Юрию Владимировичу (Андропову), я поддержу. Но больше двухсот граммов не просите.

За небольшую взятку моя жена достала икру в соседнем гастрономе.

Но не только по этой причине Вилли относился к начальству критически.

— Вот вам пример уровня этих людей, — ворчал он. — Мне дали на отзыв план ликвидации...

— За границей? — задал я глупый вопрос.

— Разумеется. Один наш идиот предложил: выследить объект, установить, в какой он остановился гостинице, взять утюг и якобы относя ему белье из стирки...

— Утюг привозят из Москвы или покупают на месте?

— Из этого ничего не вышло. Но уровень, уровень!

* * *

— Виллюше не дали звания Героя Советского Союза, — говорила Елена Степановна, — потому что Указ надо печатать в газете. А фамилию Фишер могут принять за еврейскую.

Милейшая Эля везде видела происки племени израилева.

Вилли чувствовал, что на пути его к верхам чекистской иерархии возникают невидимые препятствия, но искал их подчас не там.

— Почему вам дали свиной котух на Проспекте мира, а Питер и Лона живут, как боги, в одном доме со Святославом Рихтером, на углу Большой и Малой Бронной, в прекрасной квартире?

Вилли обиженно-наставительно:

— Начальство помешано на вербовке. Питер завербовал

всех, кто служил с ним в Испании в бригаде Линкольна. Вот с ним и носятся!

И уже яростно:

— А я никого в своей жизни не завербовал!

Верю!

Но причина плохого к нему отношения начальства не в том, что не завербовал, а в том, что возвел это в принцип. Да что там — не завербовал! Меня так и вовсе отвадил. Возможно, что не одного меня.

То есть причина в характере Вилли.

* * *

Тесно было в двадцатисемиметровой двухкомнатной квартире. Чтобы создать сносные условия, пришлось перестраивать и переоборудовать домик в поселке старых большевиков на станции "Челюскинская" Ярославской железной дороги, оставшийся в наследство от матери Вилли, Любови Васильевны Фишер.

На перестройку и оборудование ушли все сбережения.

Во всем мире загородный дом требует постоянного ремонта. В Советском Союзе необходимость что-то покрасить, подлатать, перестроить — превращается в кошмар. Не только достать любой материал — что краску, что гвозди — безумно трудно, но еще и умелые советские мастеровые любой ремонт, любую работу выполняют так, чтобы не иссякал источник дохода. Починенная крыша через две недели начинает протекать, настеленные полы топорщатся, двери не закрываются.

Этот спасительный домик, единственное приемлемое жилье для семьи Фишеров, поглощал целиком всю полковничью зарплату со всеми к ней добавками: за выслугу лет, за должность, звание и так далее, причитавшимися легендарному Рудольфу Ивановичу Абелю, прославленному советскому разведчику, орденосцу. Получал он пятьсот рублей в месяц.

Под кухонным полом развелись крысы. На них напрасно

тыякали суетливо-нерадивые Пегий и Бишка. а сам Вилли часами подстерегал их с ружьем.

До стрельбы, слава Богу, не дошло. Не знаю, как представлял себе штаб-офицер Вилли Фишер результаты стрельбы крупной дробью в тесной, заставленной посудой кухне...

У полковника Абеля с огнестрельным оружием были какие-то странные отношения. Полагавшийся ему служебный пистолет он, как и в годы войны, хранил — от греха подальше — в сейфе на работе. Ружье, которым он грозил хитрым, всегда ускользавшим от него крысам, он брал у дяди Внучека. Такие ружья с одним зарядом дядя Внучек выдавал сторожам, обходившим длинными зимними ночами почти совершенно пустой поселок. Сторожа ходили шумно, чтобы не напороться ненароком на грабителей, регулярно потрошивших пустые зимой дома.

* * *

Верблюд был величав, красив и бур, как пустыня Монголии. На базаре в Улан-Баторе за него просили на советские деньги около пяти тысяч рублей: стоимость машины "Москвич".

Стаи сытых и непуганых собак бродили по улицам столицы. Не тех, вероятно, которым когда-то выдавали на съедение покойников. А впрочем...

Иногда, огибая конный памятник Сухэ Батору, по пустынной и огромной, как степь, центральной площади проезжал в блеске синих мигалок и завывании сирен кортеж из пяти машин: правительственный "зил", две "чайки" с охраной, две милицевских "волги". Хозяин страны товарищ Цеденбал ехал через площадь из своей резиденции — в здание, где находились ЦК партии. Правительство, Великий Хурал и вообще все на свете.

Там же, в главном зале заседаний, проходил юбилейный съезд монгольских профсоюзов. Для большей значимости пригласили делегации из дальних стран. Из Москвы привезли синхронных переводчиков. Переводимые на русский язык

монгольские выступления мы с милейшим Александром Александровичем Тарасевичем переводили синхронно на французский язык. Буфет, если не ошибаюсь, открывался в десять. К одиннадцати утра языки монгольско-русских переводчиков деревенели от водки. Тогда поневоле замолкали и мы.

Из окна нашего с Тарасевичем номера гостиницы виднелся задний двор оперного театра, часть центральной площади, дальние горы и окруженный забором, казавшийся бескрайним квартал юрт. Забор означал урбанизацию столицы Монголии: юрты было запрещено фотографировать!

Вечерами, дождавшись, чтобы в Москве настало утро, я звонил домой.

В Москве умирал Вилли.

Рак легких, метастазы в позвоночник. Его уже поместили в отдельную палату, где с ним находились жена и дочь.

— Это американцы заразили его! — говорила Елена Степановна. — Я докажу!

Не терявший сознания Вилли слушал все это, стиснув зубы. Пять-шесть раз в день ему делали уколы морфия. В соседней палате круглые сутки дежурило четверо сотрудников Главного первого управления. Иногда наезжал кто-нибудь из начальства. Еще жив? Ничего не говорил? Уезжал.

В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА?

Покинув в 1936 году Принкипо, Лев Давыдович Троцкий получил разрешение временно поселиться в Норвегии.

Семья главного врага Сталина еще распаковывала чемоданы, когда у калитки виллы раздался звонок. Открыл Лев Седов, сын Троцкого.

Перед ним стоял бледный, вытянутый и голенастый, типично скандинавского вида мальчик лет четырнадцати. Он был в коротких штанишках и бархатной курточке с отложным воротничком. Спадавшие на плечи белокурые волосы подчеркивали сходство с маленьким лордом Фаунтлероем.

Под мышкой мальчик держал альбом:

— Мне сказали, что в этом доме остановился знаменитый Лев Троцкий. Нельзя ли получить у него автограф?

— Троцкий автографов не дает, — ответил Седов, захлопывая калитку.

Мальчик с альбомом ушел. Он вернулся в скромный пансион, куда его семья, русская эмигрантская семья, только что приехала из Парижа. Мальчик подробно рассказал все матери. Мать тотчас пошла на почту и отправила куда нужно телеграмму "Дедушка приехал" или что-то в этом роде.

Так возобновилось наружное наблюдение советской разведки за Троцким. Оно уже не прекратилось — до самой его смерти.

А белокурый мальчик? Мальчик сделал свое дело и уехал вместе с мамой и папой. Те еще несколько лет продолжали работать для советской резидентуры в Париже, пока, заслужив эту честь, не уехали в Россию. Отца расстреляли сразу, мать бросили в лагерь, где она и умерла.

Не миновал советской тюрьмы и белокурый мальчик.

Эмиграция....

* * *

Мощны были политические и психологические удары, которым подверглась русская эмиграция в те годы, когда я рос в ее среде.

Эмиграция. Огромная масса деклассированных, часто отчаявшихся, нищих, растерянных людей под постоянным напором сначала неокрепшей, а потом все более действенной машины советской разведки.

У всех эмиграций есть общие черты. Первая и главная — людям говорили то, что они хотели слышать. То есть, что они правы.

Монархистам доверительно сообщали, что будущее России немислимо без возведения на престол очередного или внеочередного Романова, что народ России истосковался по самодержавию и что для восстановления оно уже существует разветвленный заговор и страна на пороге переворота.

Организатору убийства царского министра Плеве Борису Викторовичу Савинкову доносили по секретным каналам, что народ считает большевиков узурпаторами и предателями революции, исповедует его, Савинкова, идеалы, что для передачи власти ему, Савинкову, существует разветвленный заговор, и страна на пороге переворота.

Вдохновенному и принципиальному антисемиту Шульгину подставные подпольные политики России ругали жидов, объясняя их происками все беды родины, обещая монархию и очищение от жидовской скверны. Для достижения этих целей существует, мол, разветвленный заговор, и страна стоит на пороге переворота.

Кто усомнится в искренности собеседника, говорящего, что вы умница и политический провидец. И что для осуществления ваших чаяний всего только и нужно-то — чуток обождать. А вы такой умный, что вроде даже уже и вождь своего народа.

И еще общая черта. Когда стало ясно, что крючок застрял крепко, давались маленькие дополнения: не надо только террора, не мешайте нам, и все будет прекрасно. И еще — сохраним Советы!

* * *

Это было примерно в 1943 году, у Михаила Маклярского.

— Не будь русской эмиграции, — сказал К., — ее пришлось бы выдумать. (Он перед тем вернулся с задания в Западной Европе).

Выдумать! Выдумать эту выморочную страну, выплеск России, неспособную к ассимиляции массу откуда-то и куда-то бегущих людей, среди которых советская разведка всегда чувствовала себя, как дома.

Выдумать! Выдумать генерала Скоблина и его жену, певицу Надежду Плевницкую — советских шпионов; выдумать бывшего участника белого движения Сергея Эфрона, выдумать агентов — Познера, Парчевского, Тверитинова, эсера Сухоминова, эстета Позднякова с его сворой мальчишек-педерастов (среди них француз Дюкомэ, участник убийства Рейса).

Выдумать русских шоферов-белогвардейцев, филеров наружного наблюдения советской резидентуры в Париже!

Выдумать странные игры, в результате которых председатель Общевоинского союза генерал Кутепов был убит по пути из Парижа в Москву (кажется, в Риге), а его сын через несколько лет стал переводчиком Министерства Внешней Торговли СССР в Москве!

Выдумать эмиграцию. Создать питательную среду, резерв взамен вымершей или ассимилировавшейся первой эмиграции, выдохшейся второй.

Стихийной была первая эмиграция: белая армия уходила, как солдат, не желающий сдаться врагу.

Стихийной была и вторая эмиграция — бегство от большевиков или нежелание к ним возвращаться.

И то, и другое — в буре войны: гражданской и Второй мировой.

Да и незачем выдумывать старое. Надо все делать по-новому.

* * *

Третья эмиграция началась и проходит в мирное время с дозволения начальства.

С момента ее начала, сохраняя всю суровую процедуру проверки, не отказавшись от принципа отказа — "ваш отъезд не в интересах государства", Советский Союз отпустил за границу больше людей, чем ушло в 1921 году из Крыма с армией Врангеля.

Неужели для массовой засылки агентов?

Мне говорили, что в Грузии 60 процентов евреев, выезжающих в Израиль, обзаводятся сотрудничать с ГБ. Сами гебисты считают, что из взявших такое обязательство будут когда-нибудь сотрудничать процента два. Неужели оперативники Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы менее напористы и инициативны? К тому же контрольные цифры должны быть одни для всех.

А если так, будем считать, что нынешняя еврейская эми-

грация даст в результате две тысячи четыреста стоящих агентов. Неплохо.

Да, но до приезда евреев из СССР в Израиль пожаловали триста шестьдесят тысяч евреев из Румынии. Прибавим еще приехавших из Польши, Болгарии, Чехословакии — тоже стран социалистических, с разведками, работающими по тем же принципам.

Элементарный подсчет дает нам как минимум десять тысяч агентов восточного блока, большинство из которых либо заняло крепкое положение в Израиле, либо уехало оттуда и осело кто где.

Стоило ли Москве затевать выброс третьей эмиграции для того, чтобы заслать меньше трех тысяч действительных агентов? И проводить для этого шумную операцию. Ведь о том, что приехали евреи из Румынии, Польши, Болгарии, никто уже не помнит. А об евреях из СССР шумит весь мир. В чем дело?

Кроме того, помимо массового еврейского потока, который у всех на виду, есть еще ручейки и капельки: кого-то выслали, кого-то отпустили с мужем-иностранцем или женой-иностранкой, кто-то, предварительно ликвидировав все имущество, поехал поздравить с днем рождения тетю и не вернулся, иной засиделся на свадьбе кузена и остался на Западе навсегда. Не говоря уже о высылаемых, которые, не считая себя эмигрантами, все же — часть потока.

Либерализация? Что-то не похоже. Выросший в эмиграции первой, пронизанной советской агентурой, как одеяло нитками, пройдя путь от довоенного Парижа до Москвы через Испанию и спецбатальон, пройдя выучку у Вилли Фишера, понаблюдовав, как забрасывали людей на Запад во время войны и после войны, зная нашпигованность России агентурой, вернувшись с третьей волной — я сомневаюсь!

* * *

Сам я попал в сферу притяжения советской разведки после Испании, куда меня привели прокоммунистические убеждения. Тут все понятно.

Но для очень многих, если не для большинства, основной движущей силой было стремление вернуться в Россию. Ностальгия.

А как известно, для управления толпой одно из вернейших средств — сдвинуть ее с места, оторвать людей от корней, от привычной жизни, заставить их куда-то, зачем-то или от чего-то бежать.

ВОПИЮЩИЕ В ПУСТЫНЕ

Мечта любой политической полиции, любой разведки и контрразведки — иметь на каждого гражданина полное досье.

Досье! Дело, папка, перфорированная карта или магнитная лента, куда занесены все сведения, все случившееся с человеком со дня его рождения. А то и раньше. Ведь полезно знать и наследственность, и семейные традиции, и симпатии и антипатии. Знать средю.

Мало того, что все мы воспитаны одной средюй, одним строем, одним образом жизни, о каждом из нас известно: кто скрупулезно честен, а кто прохвост; кто стяжатель, а кто бесребренник; кто циник, а кто романтик и шляпа; кто расточителен, а кто скуп; кто лгун, а кто правдец.

Записаны наши симпатии и антипатии, наши привязанности, семейные тайны, гастрономические предпочтения и половые привычки. Диоптрии очков, размеры рубашек, обуви и прочие размеры.

Почти невозможно объяснить западному человеку, сколько раз за свою жизнь гражданин СССР подвергается проверке, сколько заполняет анкет. И всякий раз, как он такую анкету заполнял, на него делалась "установка", опрашивали соседей, друзей, родственников, лечащих врачей и любовниц.

Когда в США захотели получить "психологический портрет" Эльсберга, похитителя "Бумаг Пентагона", то с помощью ЦРУ вломились в кабинет его психиатра, Фильдинга. Получился грандиозный скандал. КГБ не попадет в такое неловкое по-

ложение. К его услугам все психиатрические больницы, все психиатры и психологи страны. Нужно будет — обеспечат наилучший психологический портрет, прикажут: сделают из здорового больного. Или наоборот. Это по надобности.

И вот таких людей, о которых КГБ знает все, что может подсказать воображение, выехало на Запад двести тысяч.

* * *

Есть будто такой экспериментальный закон: "Животное хорошо известного происхождения, помещенное в четко определенные экспериментальные условия, делает то, что хочет".

Из этого делают вывод, что ни животных, ни людей запрограммировать нельзя. Почему?

Что значит "делает то, что хочет" ?

Число возможных реакций на любую ситуацию ограничено, психологических человеческих типов совсем не много. Неужели так трудно предвидеть поведение людей, выросших в хорошо изученных условиях и о каждом из которых имеются исчерпывающие сведения? И если досье рядового эмигранта, возможно, и примитивно, то уж на человека мало-мальски заметного имеется, полагаю, подробная справка. И неужели зная, к примеру, что такой-то алкоголик, а такой-то — сексуальный маньяк, нельзя, даже если оба стоят на твердых литературных и политических позициях, направить при желании их судьбу по нужному руслу?

— Ага, — говорит западный читатель. — Обычная паранойя... Вам мерещатся агенты!

Так же, как нет сегодня шпионов, подобных Вилли Фишеру, так и агент, даже простой осведомитель, стукач, пошел не тот.

Это при Сталине оперуполномоченный мог вызвать, спросить грозно: "Вы советский человек?" И оцепенелая от страха жертва обязывалась исправно доносить на всех и подписываться "Шустрик".

От уезжающего никто не ждет, чтобы он похищал секретные документы. Он будет проводить определенные идеи, мо-

жет просто пороть чушь и мараить бумагу, поддерживая в глазах Запада определенное представление о том, что творится в России, давая оценку возникающих там течений. Для этого не нужно быть агентом и брать на себя формальные обязательства. Ну, а если нужно будет, вдруг придет привет от милых московских собеседников, тех самых, которых жена так остроумно третировала, людей вполне милых и начитанных, которым дороги судьбы отечественной словесности.

Липкое слово "стукач" тут просто неуместно. Оно устарело...

* * *

Три эмиграции! Параллели, сходства и различия...

Вождей первой эмиграции Советам надо было нейтрализовать, убеждать, обманывать и уничтожать.

Вождей второй эмиграции..?

А третьей?

Последние годы Вилли запоем читал самиздат и тамиздат, которые я ему носил. Ему было бы, разумеется, все это легко достать на работе через того же еще не умершего Агаянца, специалиста по дезинформации, с которым он дружил. Но на это Вилли не хватало — боялся показать сослуживцам свой интерес в запрещенному. Читал тайком от жены и дочери.

А после того, как я дал ему прочесть "Воспоминания" Надежды Яковлевны Мандельштам, не уезжал из Челюскинской без собственноручно срезанного и собранного им букета, который отвозился на Черемушкинскую улицу. "Это от вашего шпиона?" — "Да, от него".

И уж совсем тайком, в лесу, на прогулке с собаками, он сказал мне: "Если все до конца осознать и признать, то остается только взять веревку и повеситься".

Сыгравши до конца роль полковника Абея, вернувшись в Москву, Вилли Фишер был уже не тем, каким отправился в путь в 1948 году.

Не случись ему сыграть "полковника Абея", не окажись он перед выбором: верность КГБ или служба в ЦРУ, кто зна-

ет, что бы стало. И Вилли, может быть, нашел бы и для себя хитрый ход, чтобы сойти с того чуждого ему по существу пути, ведущего мимо настоящего дела и, главное, мимо искренних человеческих чувств.

Но с этого пути, неосторожно избранного Вилли, уходить надо в самом начале.

Не знаю, может ли появиться сегодня новый "полковник Абель" — новый Эмиль Гольдфус или Вилли Фишер появиться не может.

* * *

— Я обязан вам своей нынешней свободой, — сказал я однажды Вилли. В саду на даче нас никто не мог слышать, кроме о чем-то совещающихся собак.

Вилли сразу понял, о чем я говорю, улыбнулся.

— Не надо только говорить об этом моему начальнику.

С Бишкой случился в этот момент, как с ним часто бывало, припадок вроде эпилептического. Он, упав на бок, забился в судорогах. Опустившись на колени, Вилли стал массировать пса по какой-то им самим изобретенной методе, что-то шепча в лохматое ухо.

Бишка, наконец, глубоко вздохнул, расслабился, начал лизать руку хозяина. Вскочил. Миня следил за происходящим с некоторым удивлением.

Я думал, что Вилли не вернется к затронутой теме.

— Не пойдешь ты в свое время работать в ИНО, — сказал он, поднимаясь и стряхивая с колен еловые иглы, — был бы я сегодня художником.

И добавил, ослабившись:

— Членом Академии...

* * *

Почему Вы не стали художником, а стали шпионом? Ведь трудно было придумать менее подходящее для Вас занятие? В чем был глубокий смысл Вашего провала в Америке?

В чем заключалась "проверка Шведа"?

Зачем затеяна сегодня громоздкая и, надо полагать, очень важная для Москвы возня с "третьей эмиграцией"?

Какова новая роль разведки в современном мире?

Как было бы хорошо обсудить с Вами эти вопросы, дорогой Вилли. Вы сначала заворчали бы, говоря, что я, как всегда, фантазирую, а потом, глядь, как это подчас бывало, и сказали бы что-нибудь.

И вообще жаль, что Вас нет. Вы много сделали для меня, помогли многое понять, обострили мое зрение и научили видеть то, что скрыто от неискушенного глаза. Среди ветвей и оленьих рогов загадочной картинки — иногда видеть охотника! Видеть даже стоящего на голове.

Под конец Вашей жизни мне, кажется, удалось помочь Вам кое в чем разобраться. Согласитесь, Вы ушли из жизни уже не тем твердокаменным большевиком, которым воспитал Вас когда-то в Англии Генрих Матвеевич Фишер.

За психологический сдвиг, позволивший Вам сказать: "остается только взять веревку и удавиться", — я охотно принимаю благодарность.

А Вам еще спасибо за то, что научили меня простой истине: хотя она и помогает кое-что яснее видеть, разведка — "не для белого человека", как Вы любили говорить. Немного в ней покрутиться полезно, но посвящать ей жизнь не стоит. Не только потому, что легко ненароком сделать гадость, но еще и потому, что работа в ней деформирует характер, искажает человеческие чувства и отношения. Вы не были созданы для того, чтобы жить без человеческих чувств. Ваша дружба с бруклинскими художниками, Ваша дружба с Рудольфом, наши с Вами тридцать лет дружбы — тому доказательство.

Справедливо или по крайней мере естественно, что взлетом Вашей карьеры разведчика оказался провал, исполнение роли героического, бесстрашного и холодно-расчетливого полковника Абея, выдуманного руководителя уже несуществующей резидентуры!

Проживи Вы чуть-чуть дольше, дожись Вы моего возвращения из Монголии, когда я, наконец, это высчитал и понял,

я бы всласть подразнил Вас намеками на Вашу историю. А потом, возможно, мы вместе посмеялись бы над ней. Не приелось!

Еще раз спасибо за все. И, возможно, до скорого!

Ваш

Кирилл Хенкин

ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ

История моего друга Рудольфа Абеля

Среди ветвей и оленьих рогов на детской загадочной картинке вверх ногами притаился охотник. Различив его однажды, вы не сможете не видеть его всегда.

Долгие годы общения с Рудольфом Абелем, учителем "шпионских наук" и другом, научили Кирилла Хенкина быстро обнаруживать охотника.

Эта книга — история подлинного, никому еще не известно "Абеля" /Вильяма Фишера/. История его семьи, детства, жизни и безрадостного конца в раковой клинике. Это попытка ответить на вопрос, почему опытный "Абель" дал арестовать себя американской разведке, разгадать истинную роль Александра Орлова, бежавшего в 1938 году в США.

И это — история самого автора, "дважды эмигранта Советского Союза", выпускника Сорбонны, участника Гражданской войны в Испании, после возвращения в Союз прошедшего сложный путь — от солдата спецчастей НКВД, после войны — переводчика и радиожурналиста — до отказника, активиста борьбы за выезд, путь, приведший его в 1973 году в Израиль.

Сейчас К. Хенкин — политический комментатор радио "Свобода".

В конце книги страсть к "загадочным картинкам" заставляет автора обратить взор на третью эмиграцию и задать вопрос: "Зачем и почему нас выпустили?" Вторая книга Кирилла Хенкина "Русские пришли" будет целиком посвящена этой теме.

По-русски "Охотник вверх ногами" в ближайшее время выйдете издательстве Посев".

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА АРДИС

- АХМАТОВА, А. Поэма без героя. (1978). 3.50
 Подорожник (1976). 2.50
 АнноДомини (1976). 3.50
 БЕЛОЗЕРСКАЯ, Л.Е. Воспоминания о М.А.Булгакове. (1979). 3.95
 БИТОВ, А. Пушкинский дом. (1978). 412 стр. 8.00
 БРОДСКИЙ, И. Часть речи. (1977) Конец прекрасной эпохи. 3.95 кажд.
 БУЛГАКОВ, М. Дьяволиада. (1976). 3.55
 Неизданный Булгаков. (1977). 5.00
 ВАГИНОВ, К. Стихи. (1978). 2.50
 ВОЙНОВИЧ, В. Иванькиада. (1976). 3.95
 ГАЗДАНОВ, Г. Вечер у Клэр. (1979). 4.50
 ГИППИУС, З. Письма к Ходасевичу и Берберовой. (1978). 3.00
 ГЛАГОЛ, Альманах, выпуски 1 и 2 (1977, 1978) 3.95 кажд.
 ГУМИЛЕВ, Н. Огненный столп. (1976). 3.00
 ДОВЛАТОВ, С. Невидимая книга. (1978). 3.50
 ЗАМЯТИН, Е. Нечестивые рассказы. (1978). 3.95
 Наводнение. (1976). 2.50
 ИСКАНДЕР, Ф. Сандро из Чегема. (1978). 610 стр. 8.95
 КОПЕЛЕВ, Л. И сотворил себе кумира. (1978). 335 стр. 7.95
 Хранить вечно. (1978). 702 стр. 8.95
 Вера в слово. (1977). 64 стр. 3.00
 КУЗМИН, М. Форель разбивает лед. (1978). 3.95
 МАНДЕЛЬШТАМ, О. Египетская марка. (1976). 3.95
 НАБОКОВ, В. Камера obscura. (1976). 6.00
 Весна в Фиальте. (1978). 6.00
 Отчаяние. (1978). 6.00
 Соглядатай. (1978). 6.00
 Король, дама, валет. (1979). 6.00
 Другие берега. (1978). 6.00
 Лолита. (1976). 5.00
 Возвращение Чорба. (1976). 5.00
 Стихи. (1979). 3.95
 Подвиг. (1978). 5.00
 Машенька. (1978). 4.00
 Приглашение на казнь. (1979). 6.00
 Защита Лужина. (1979). 6.00
 ОЛЕША, Ю. Зависть. Илл. Альтмана. (1976). 3.95
 ПАРНОК, С. Собрание стихотворений. (1979). 388 стр. 5.00
 ПАСТЕРНАК, Б. Сестра моя жизнь. (1976). 3.95
 ПЛАТОНОВ, А. Шарманка. Пьеса. (1975). 3.25
 ПУШКИН, А. Путешествие в Арзрум. Репринт с изд. Лифаря. 4.00
 СОКОЛОВ, Саша. Школа для дураков. (1976). 3.00
 УФЛЯНД, В. Стихи 1955-77. (1978). 3.00
 ХЛЕБНИКОВ, В. Зангези. Факсимиле. 3.25
 ЧААДАЕВ, П. Философические письма. (1978). 3.50
 ЧУКОВСКИЙ, К. Поэт и палач. 2.50
 ЦВЕТКОВ, А. Сборник пьес для жизни соло. (1978) 3.95
 ЦЕХ ПОЭТОВ. Акмеисты. (1978). 3.00

ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ. ВПИШИТЕ СВОЮ
 ФАМИЛИЮ _____

АДРЕС _____

ВЫРЕЖЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, добавьте к сумме чека 50 центов на
 пересылку и шлите заказ по адресу:

ARDIS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104, USA

ИДЕОГРАММЫ ВАЛЕРИО АДАМИ

Валерио Адами — один из виднейших художников итальянского авангарда. Он пишет акрилом на огромных холстах картины-вывески, яркие, многоцветные полотна, живописные стилизации журнальных карикатур. Его полотна — это своего рода "графическая живопись", с надписями, выполненными каллиграфическим почерком художника-шрифтовика.

В своих записных книжках Адами отмечает, что его интересуют в основном мифологические и литературные сюжеты, интерпретации классических тем и картин — шедевров старых мастеров.

"Где черпать темы? — В литературе. Выдумка отталкивается от сюжета. Сафо, Аделаида, Беатриче..."

Интерпретируя эти классические и мифологические сюжеты как карикатуры, Адами создает свое художественное измерение, индивидуальную изобразительную систему.

"Создать новый порядок вещей. Вещи, становящиеся ангелами. Равенство между вещью и ангелом. Иконография ангела, крылатого существа с головой Вольтера. Два портрета, держащих руки во рту... Демон, избивающий туристского гида. "Некий П. С. — гомосексуалист... Вольтер, погруженный в метафизику..."; — так пишет в дневниках о создаваемом в его картинах мире сам Валерио Адами.

Адами, постоянно обращающийся к классике, находит современное пластическое решение в иронической трактовке классических художественных образцов. Модернизм Адами — не столько в его технических приемах поп-артистского искусства, сколько в обращении к животрепещущим проблемам современной цивилизации и современного человека: мифотворчеству, символике, психоанализу, Фрейду, Вагнеру, Марксу...

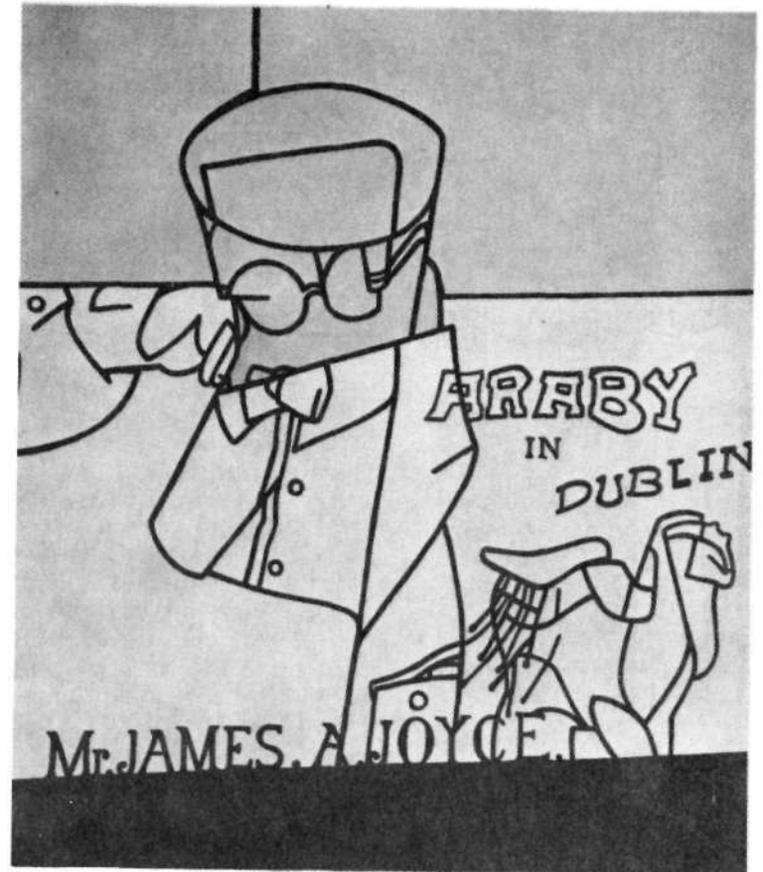
Искусство Адами, где-то пародирующее, а где-то сближающееся с жанром политической карикатуры, несет острую политическую окраску. Адами — современный итальянский художник, склонный в своих политических и художественных декларациях к анархии и бунтарству.

По коричнево-зеленому фону полотна, пересекая его вертикально, строятся написанные каллиграфическим почерком слова — "мятежники, мятежники" — одно под другим. На переднем плане — зеленая повозка, силуэт женской головки, обмотанной красным тюрбаном, выделяющимся на фоне ее неестественно белого, бледного лица. В повозку впряжена красная лошадь. Женскую головку перечеркивает световой квадрат, из которого вырастает бюст с неясными, стертymi очертаниями лица. Это — бюст Вагнера, мятежного композитора, сражавшегося на Дрезденских баррикадах.

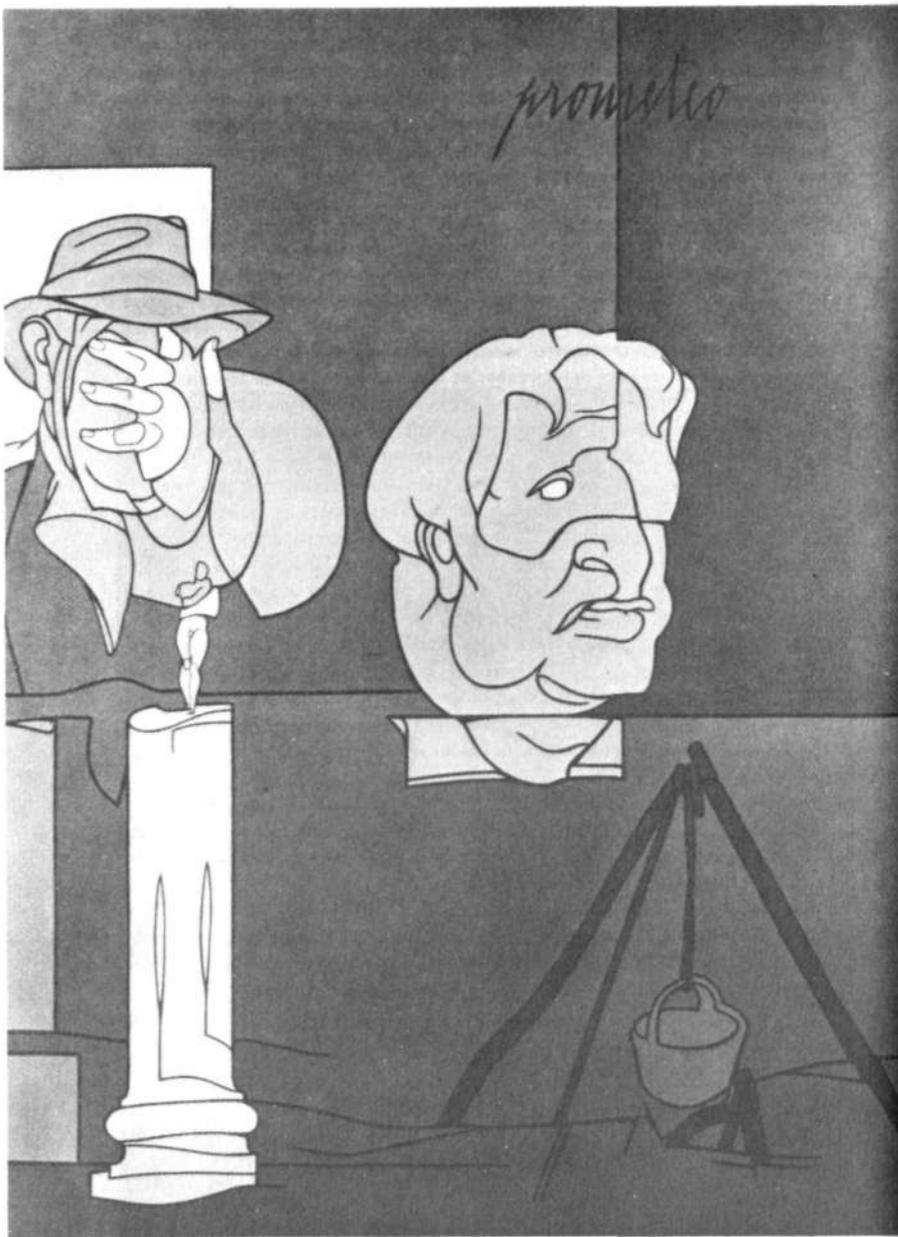
Адами обращается к современной истории, с ее катаклизмами, мятежами, бунтами, революциями. Дважды написанное на фоне картины слово — "мятежники" — это и реплика современного итальянского города, на стене которого сегодняшние революционеры запечатлели свои революционные чаяния, и чисто историческая ассоциация, напоминающая о двух свершившихся великих бунтах прошлого — восстании 1848 года и Парижской Коммуне.

Политический лозунг, соответствующий духу бунтарства современного европейского интеллектуала, у Адами становится неотъемлемой частью авангардистской иконографии.

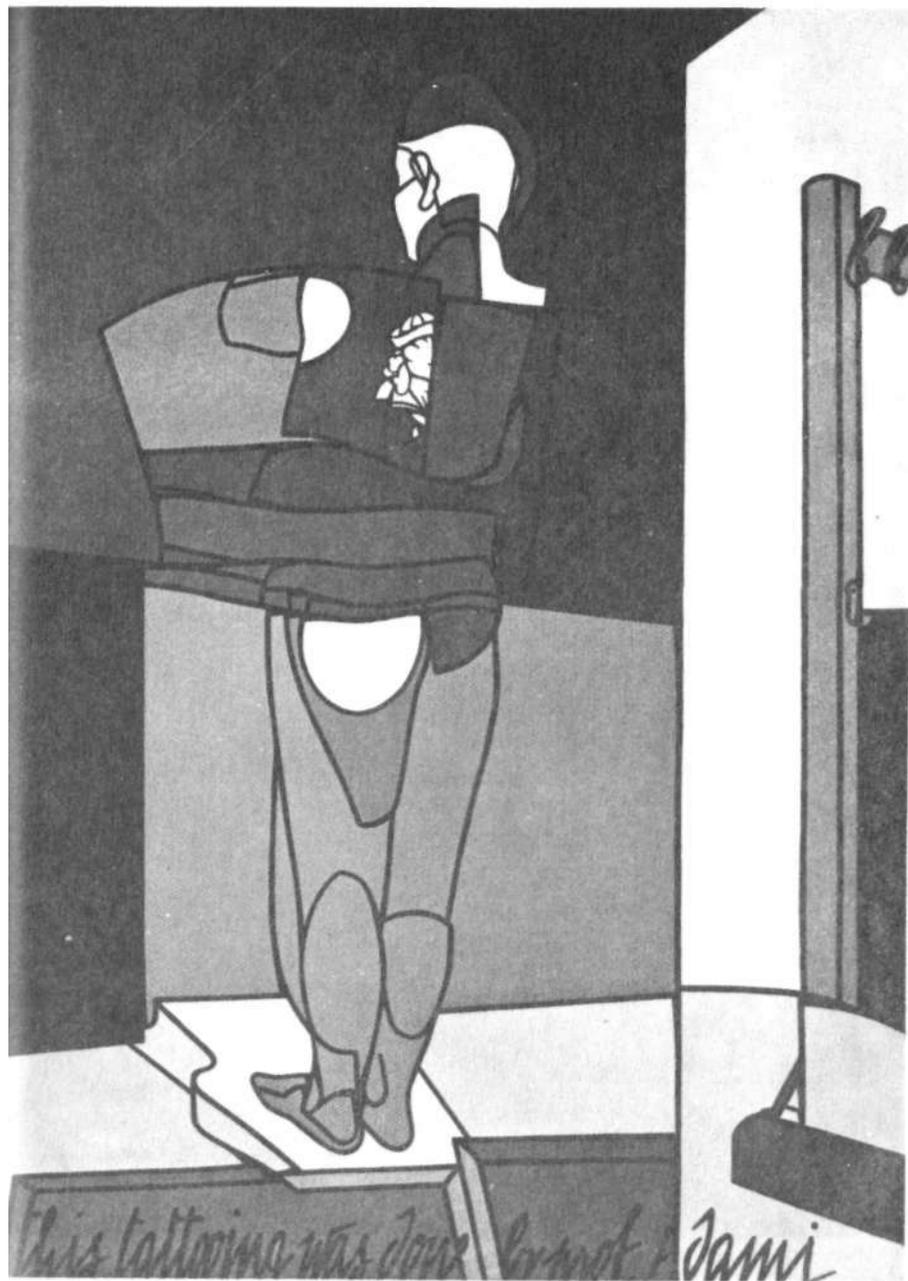
Н. Гросс



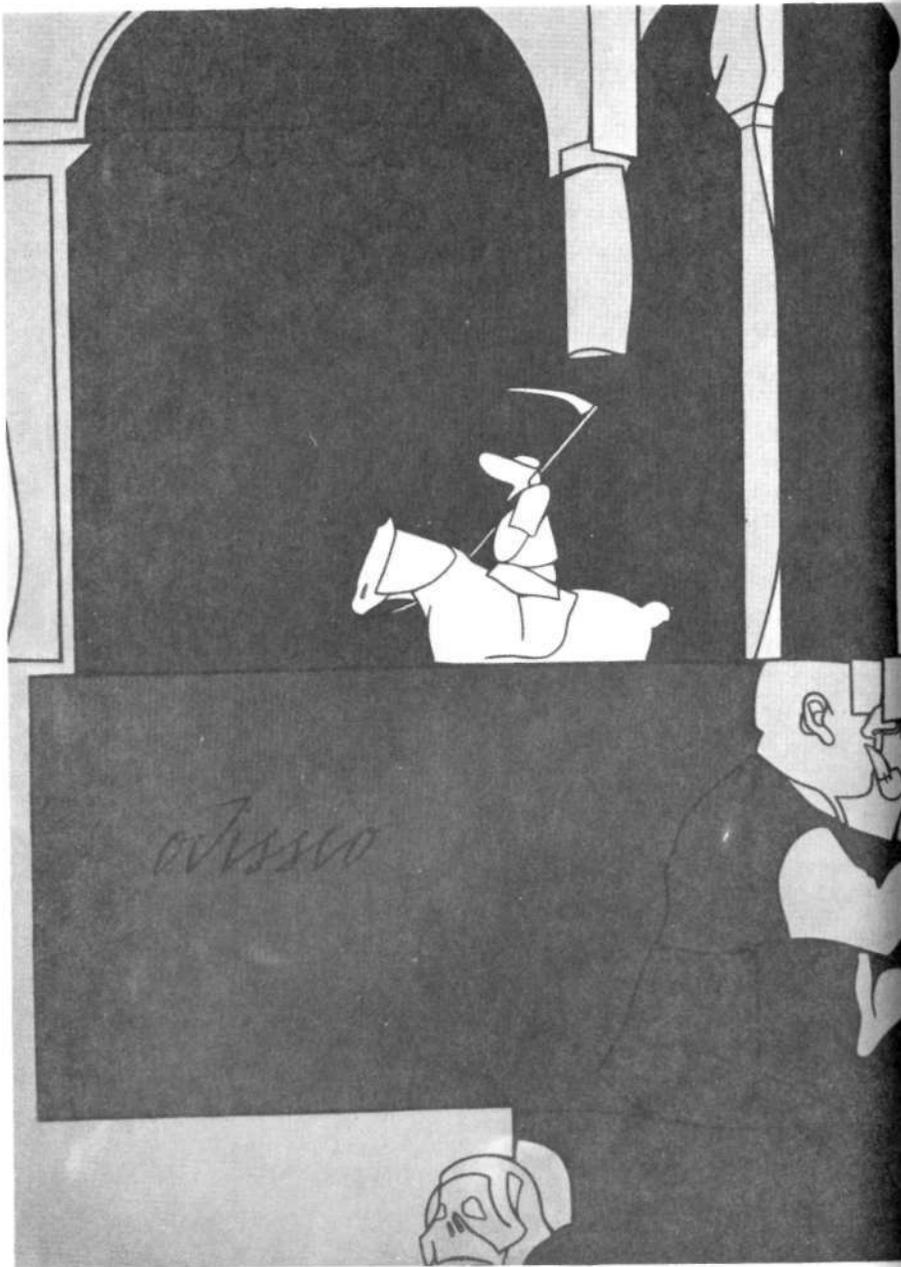
Портрет Джеймса Джойса



Прометей.



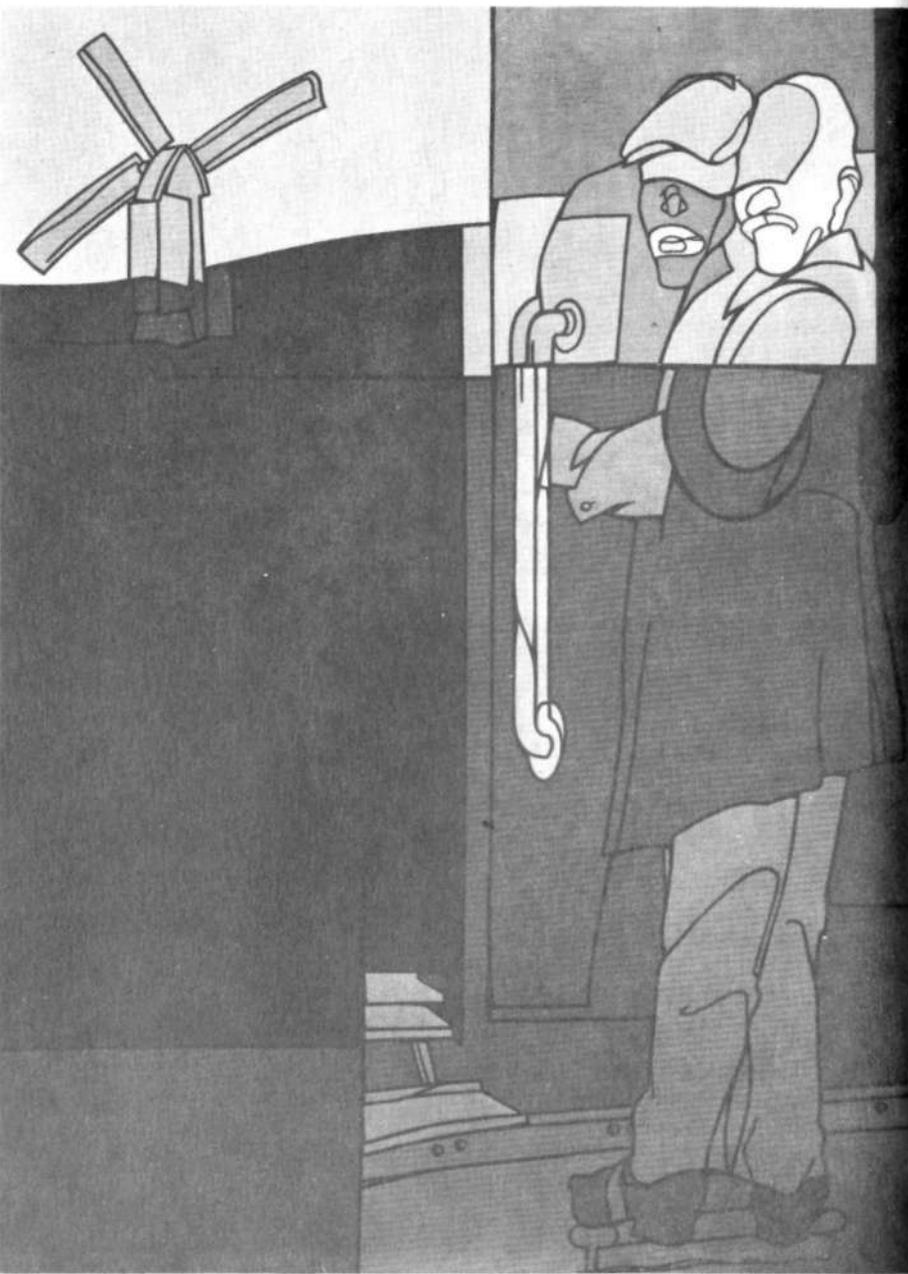
Татуированный Нарцисс.



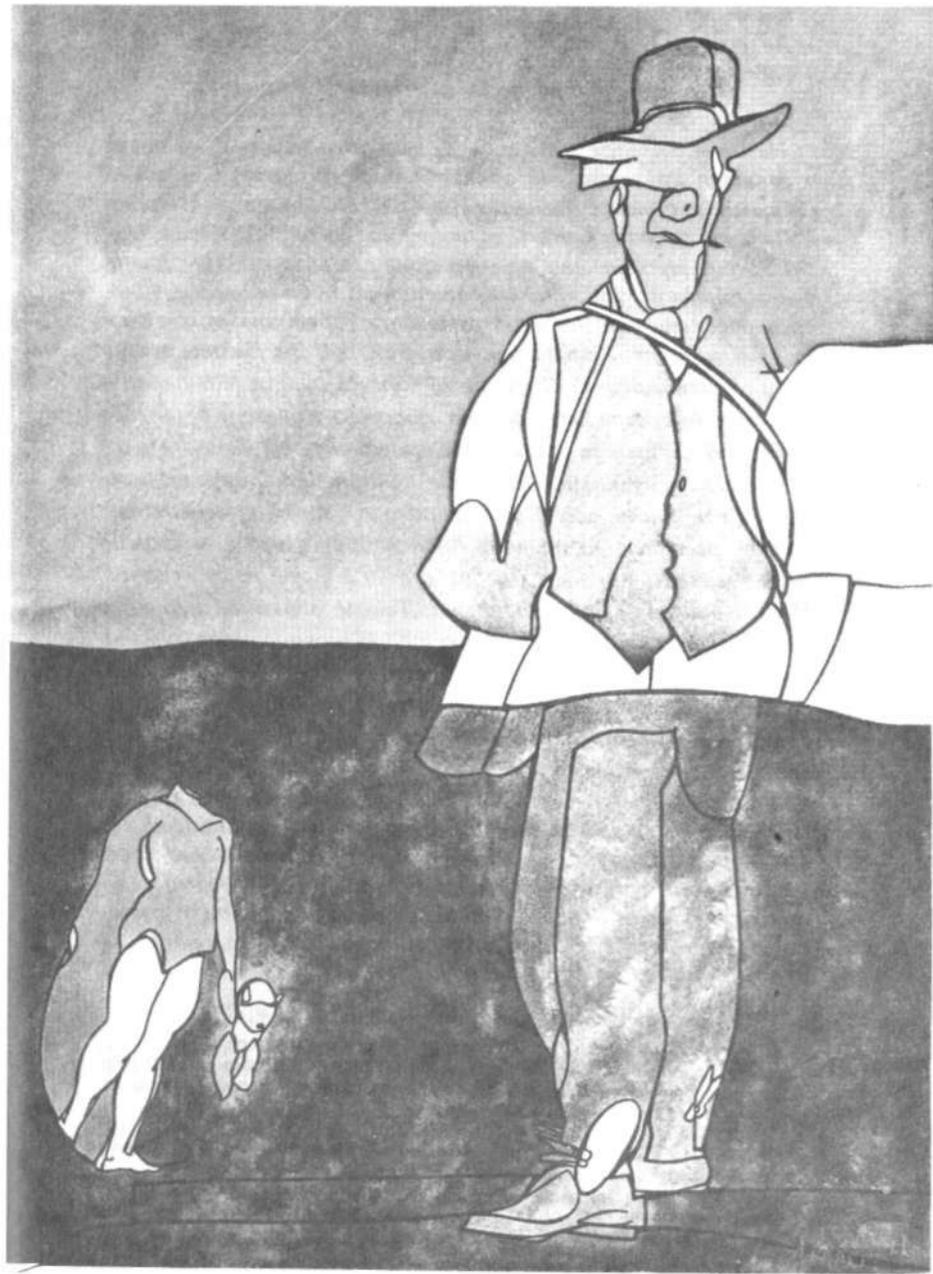
Одиссей.



Поэтическое вдохновение.



Поэтический опыт.



Народный фронт.

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация воспоминаний Самуила Микуниса, писем Милюкова и Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать отрывок из воспоминаний Кирилла Хенкина "Мой друг полковник Абель", цикл эссе Льва Наврозова "Запад и посредственность", рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1600 лир, на шесть месяцев — 950 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1800 лир и 1100 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий — не позднее марта 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370)

В ГЕРМАНИИ: на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, Tel Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу. **P.O.B. 24123, Tel Aviv, Israel**



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Виктор НЕКРАСОВ. См. журнал № 48.

Лев КОПЕЛЕВ. Критик, литературовед, писатель. Родился в 1912 году в Киеве. В 1938 году окончил Московский институт иностранных языков. Участник Великой Отечественной войны. Затем много лет провел в сталинских концлагерях и тюрьмах. Автор множества статей и переводов. В 1976 году на Западе вышла его первая большая проза: "Хранить вечно". Через год исключен из Союза писателей СССР. Активный участник правозащитного движения в СССР. Лев Копелев — постоянный автор журнала "Время и мы".

Раиса ОРЛОВА /жена писателя Льва Копелева/. Писатель и переводчик, член Союза Писателей СССР. Специалист в области истории американской литературы, автор ряда книг и статей, посвященных американской литературе.

Евгения ГИНЗБУРГ. Биографические данные приводятся в воспоминаниях Раисы Орловой и Льва Копелева.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. Биографические данные приводятся во вступительной статье Ефима Эткинда.

Надежда ПАСТЕРНАК. Родилась в Кишиневе в 1950 году. Окончила филологический факультет Кишиневского пединститута. Стихи пишет с 13 лет. Начиная с 1968 и по 1969 год выступала в периодической печати. После 1960 года в Советском Союзе не публиковалась. В Израиль приехала в 1979 году.

Лев НАВРОЗОВ. Как и многие другие в современной России, Лев Наврозов жил подпольно примерно с 14 лет, то есть с 1942 года. Он был подпольным писателем.

Для того, чтобы существовать и не быть сосланным в качестве тунеядца, он "внештатно переводил" на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Фазила Искандера, Андрея Битова. После первой и последней попытки напечатать свою книгу "Стаканчики граненые" в московском издательстве в короткий просвет "Пражской весны" 1968 года Наврозов стал писать по-английски, и, приехав в Соединенные Штаты в 1972 году, он издал свою первую из семи книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией".

Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Лев Наврозов является постоянным автором журнала "Комментарии". Начиная с 47 номера, Лев Наврозов — член редколлегии журнала "Время и мы".

И. НОЛЯИН. Редакция не располагает подробными биографическими данными И. Ноляина. Известно, что он — ученый, профессор, в настоящее время живет в Нью-Йорке, в Бруклине.

Н. ПРАТ /Анатолий Парташников/. Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве, в 1935 году. Учился в Киевском медицинском институте, который не окончил из-за ареста. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "антисоветскую деятельность". После освобождения жил в Киеве, работал санитаром на станции скорой помощи. В 1968 году окончил философский факультет Киевского университета. Работал переводчиком научной литературы с английского языка на русский. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Н. Прат — постоянный автор журнала "Время и мы".

Самуил МИКУНИС. Биографические данные приводятся в воспоминаниях Самуила Микуниса в №№ 48, 49.

Кирилл ХЕНКИН — род. в 1916 г. в Петрограде, детство и юность провел во Франции, окончил Парижский университет. В 1937-38 гг. был бойцом Тринадцатой Интербригады республиканской армии в Испании. С 1939 г. преподавал французскую литературу в США. В 1941 г. вместе с родителями вернулся в СССР, во время войны служил в специальных /партизанских/ частях. В 1945-47 гг. работал во французской редакции московского радио, затем занимался переводами на французский и с французского /в частности, Сенанкура, Мольера, Ануя, Ионеско/. В 60-е годы работал в Праге переводчиком в журнале "Проблемы мира и социализма" и был свидетелем вторжения советских войск в Чехословакию. 26 авг. 1968 г. вместе с женой был выслан советскими властями из Праги в Москву. До отъезда в Израиль работал только внештатно. Эмигрировал в 1973 г. В настоящее время живет в Мюнхене.

*ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ*

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 год издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"ИМОВОУЕ РУССКОУЕ СЛОВО"
и направлять по адресу:
**243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA**

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

КОГДА БАНК «ЛЕУМИ»

ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ БОНУС
ДО

22,500 ЛИР

**ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЕГО**

БОНУС В 25% ПО ПРОГРАММЕ «КОАХ АД 120» НА ЛЮБУЮ СУММУ ОТ 500 ДО 90.000 ЛИР.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В БАНКЕ «ЛЕУМИ», БАНКЕ «ИГУД», БАНКЕ «АЛИЯ-ЛЕУМИ»
И БАНКЕ «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».

БАНК «ЛЕУМИ» —
— банк, шагающий в ногу со временем.



bank leumi בנק לאומי

E.TAL ADV

До 17.9.
БОНУС
25%
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БАНКА «ЛЕУМИ»

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03)31-58-40.

26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П. Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Ася Левина

Технический редактор И. Левин

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Валерио Адами "Зигмунд Фрейд, путешествующий в Лондон.

Иллюстрации, опубликованные в разделе вернисаж "Время и мы" и на четвертой странице обложки, взяты из каталога "Adami" /Израильский музей, Иерусалим 1979/

